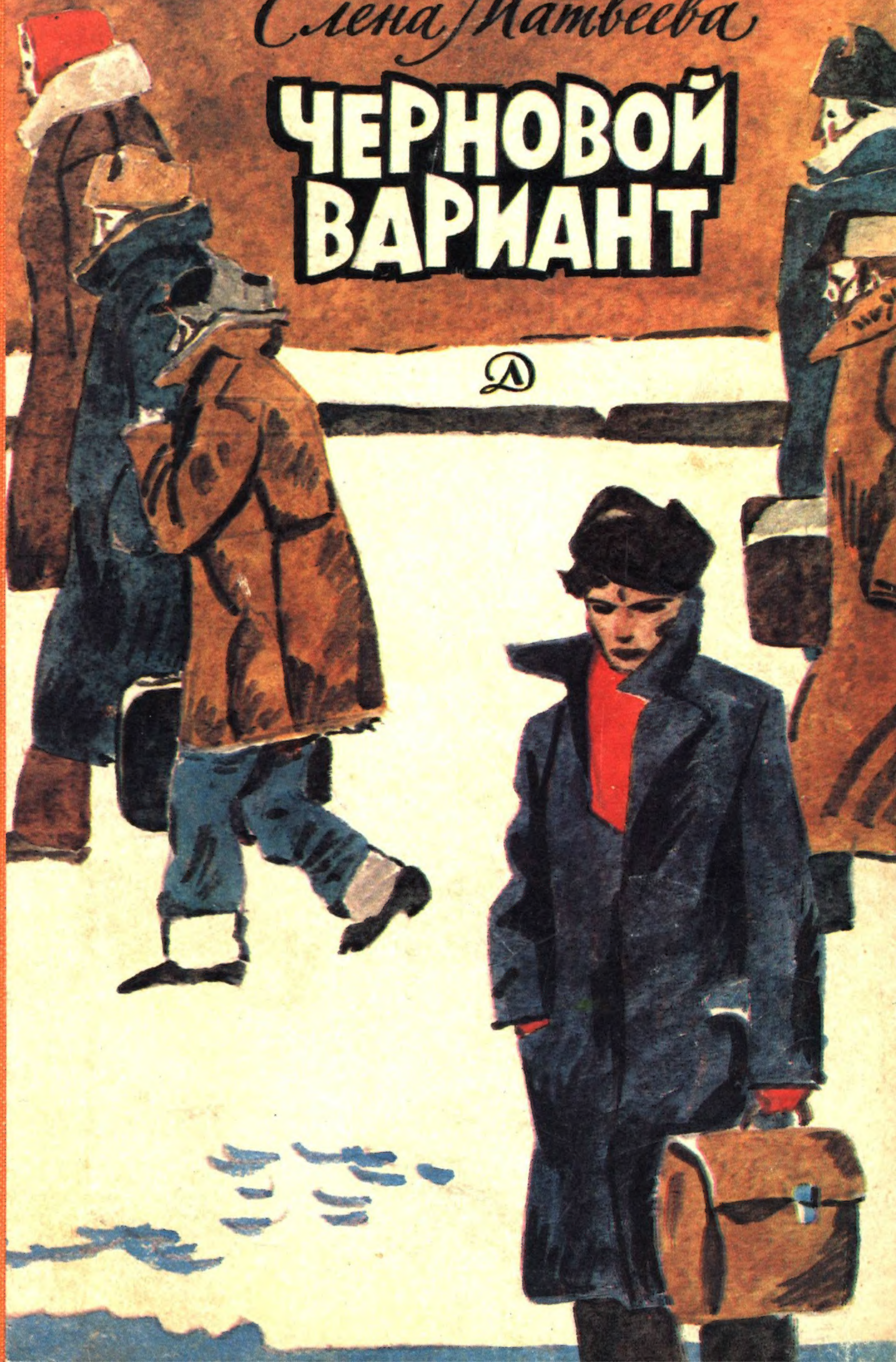


Елена Наумбева

ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ

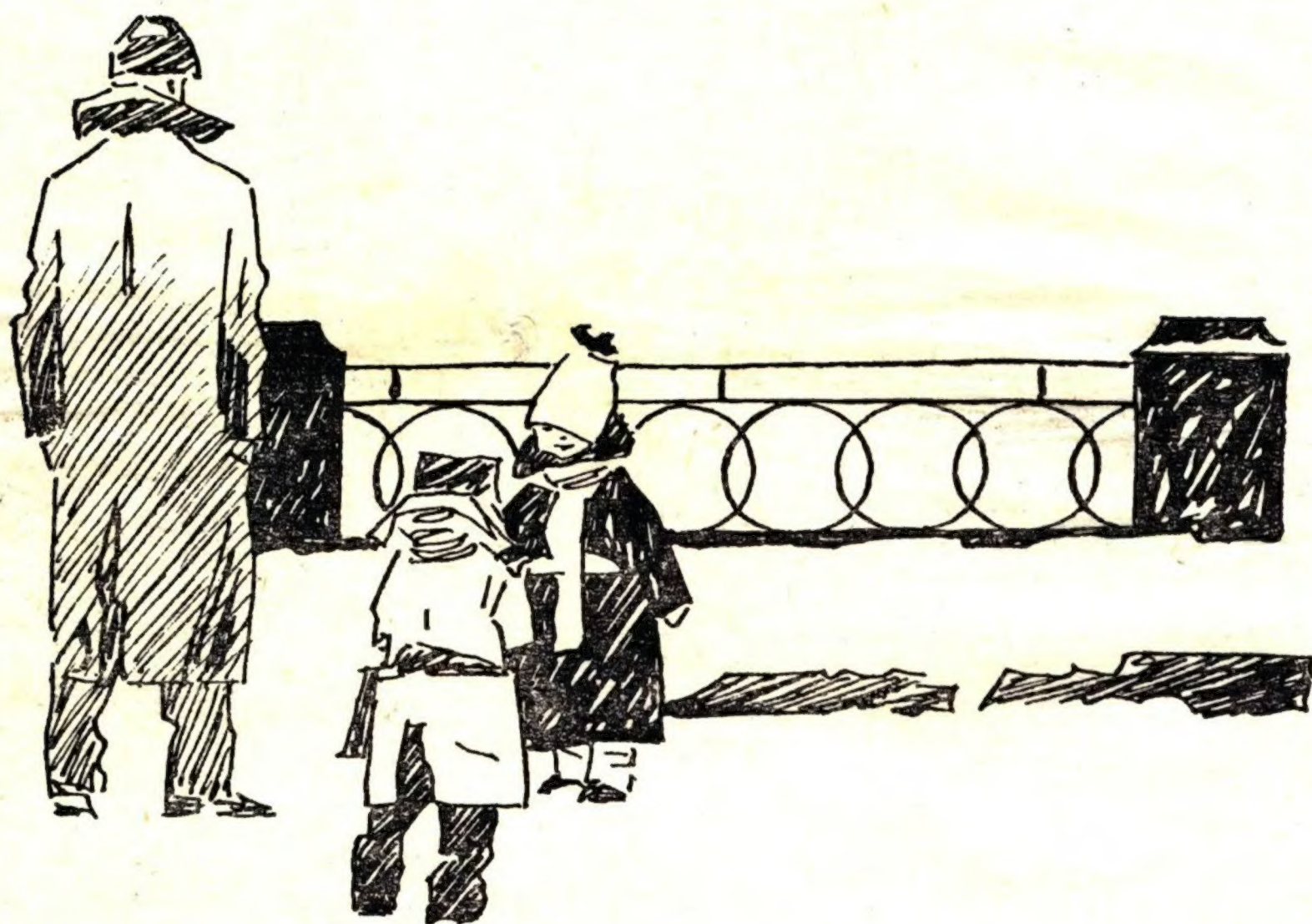






направляет-
ся в Б. [redacted] отсюда
за активную работу
в отряде и участие в
дружественных делах.

Лето-80г. Оценки
дружеская "Оценки"
не надежды



ЕЛЕНА МАТВЕЕВА



ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ

ПОВЕСТЬ

Рисунки В. Юдина
10356/5-

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1980

P2
M33

Матвеева Е. А.

M33 Черновой вариант: Повесть/ Рис. В. Юдина.—
М.: Дет. лит., 1980.— 111 с., ил.

В пер.: 35 к.

Первая книга молодой писательницы.

Повесть написана от лица школьника-девятиклассника, который, рассказывая о своей жизни, хочет понять себя. Характер его еще не определен, он весь в борьбе с самим собой. И жизнь его не балует: умирает мать, не складываются отношения с отцом. Но Володя натура одаренная, с хорошими склонностями, он найдет свое место в жизни. Действие происходит в наши дни в Ленинграде.

М 70803—278
M101(03)80 27P—80

P2

Издательство «Правда», «Юность» № 1, 1978 г.

© Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1980 г.

Елена Матвеева — участница VII Всесоюзного совещания молодых писателей, проходившего в Москве в 1979 году.

На таких совещаниях обстановка немного напоминает школу. Есть учителя, и есть ученики. Трудные задачи тоже встречаются. И есть — как в школе — большие ожидания. Поэтому меня радует, что первая книга Елены Матвеевой выходит в свет.

Это повесть о современной школе. Мы говорили на совещании, что молодость — лучшее время для работы над книгами о ребятах и для ребят. Ведь все школьное еще так свежо в памяти. И не просто свежо. Вот почитайте, как пишет Елена Матвеева. Такое впечатление, что она закончила свой десятый класс, пошла дальше, а школьные дела и проблемы бегут за ней, не отпускают, тревожат — и надо воротиться туда, в свои школьные годы: доспорить, довыяснить, доказать, доделать. Надо заступиться за того, за кого не сумела заступиться девчонкой. Надо высказать свое мнение в том давнем споре, когда не нашлось убедительных слов. А главное, надо постараться понять всех тех, кого не смогла понять тогда, в свои четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... Вот с этого стремления понять, влезть в кожу другого человека и начинается писатель.

И. Стрелкова





ПАМЯТИ БОРИСА БЕДНОГО

1

Первое сентября.

Проснулся я рано, а это со мной не часто случается. Мать еще не ушла на работу, возилась в кухне. Закипал чайник. Не выходя из комнаты, я могу определить, что́ на плите — чайник или кофейник: чайник, закипая, всегда ворчит и барабанит крышкой, а кофейник хрюкает.

Я лежал с открытыми глазами и думал: только бы не вошла мать. Только бы не вошла. Притащится и обязательно все испортит. Одним присутствием. Но будильник громко отстукивал свои единицы времени, а мать не появлялась. Тонины в комнате тоже не было. Впро-

чем, была. Как всегда — вокруг меня. И я нежился, будто в гамаке, сплетенном облаком ее волос, улыбкой, движениями губ, глаз и запахом, главное, запахом, одурманивающим, горьковато-терпким запахом заморских духов каких-то. Так всегда, если я один, а иногда даже и при людях.

Я посмотрел на часы. Минут через двадцать мать уйдет на работу. Чтобы не встречаться с ней, промчался в ванную комнату, запер дверь и пустил воду. Потом забрался в ванну и закурил.

Куриль я начал недавно. От сигарет, тем более натошак, кружится голова. Мне приятно, будто я в лодке.

Кем я себя представляю, когда лежу в ванне с сигаретой в зубах и слушаю ласковое журчание воды? Не могу сказать. По крайней мере не собой. Хотя, пожалуй, и собой, только сильно улучшенным: взрослым, самостоятельным, чуть небрежным — я мужчина, я личность, реагировать на мелочи у меня нет времени и желания. Лица красивее, чем есть, не надо, но, конечно, решительнее и мужественнее. Женщины... Они чувствуют во мне силу. Они боятся влюбиться в меня.

Я вижу свои тощие конечности, узкую грудь. Бледная, младенчески гладкая, лишенная всякого признака волосатости кожа. Обидная картина. Но это не мешает мне наслаждаться теплом и безопасностью. Здесь, в ванне, я на далеком острове. Никто и ничто не ворвется в мое одиночество, в мою тайную жизнь, которая имеет свойства рушиться от малейшего вторжения действительности. Вот такая это жизнь. Ну и пусть. Зато она моя. Я выпускаю сигаретный дымок, и в его желто-голубых нитях тоже Тонина.

Вообще-то она Антонина. Но имя это мне не нравится. Антонина — Тоня. Мещанское что-то. А Тонина — это заводь, это цвет дыма, и будто прыгаешь на тугο натянутом брезенте. Загадочность и мелодичность. По-моему, хорошо для женского имени.

Действительность — это моя мать. Конечно, готово дело, она уже под дверью:

- Ты будешь на завтрак колбасу?
- Мне все равно.
- Ты опять куришь? (Угрожающе.)
- Курю.

- Прекрати сейчас же!
- Прекратил. (Вполголоса: «Как же. Жди».)
- Я уйду на работу.
- Ладно. (Вполголоса: «Давай, давай».)
- Что ты там бурчишь?
- С собой разговариваю.

Перед уходом опять подошла к двери:

- Я уйду! Окурки за ванну не бросай.
- Понял.

Хлопнула дверь, повернулся ключ. Мать ушла. И, как всегда, задним числом, мне стало ее жалко. Она, наверно, ждала: раз уж я так рано проснулся, то посижу с ней в кухне и мы поговорим о погоде, о том, что хоть колбаса и совсем свежая, но все-таки вчерашняя и ее нужно поджарить, а из десятка яиц по девятисто копеек три опять оказались тухлыми. Мать была бы довольна. Ей ведь так мало нужно.

Если бы человек жил сначала на черновик, а потом на чистовик, я бы многое переделал. Я бы заботливее и внимательнее относился к матери. Но я не хотел бы повторить свою жизнь. Все началось бы снова, и мне до встречи с Тониной оставался бы миллион лет. Я не хотел бы вернуть даже каникулы. Я очень ждал сегодняшнего утра.

Иногда даю себе слово: с завтрашнего дня постараюсь быть хорошим, добрым и делать то, что нужно. Хотя чаще я намечаю начало новой жизни с понедельника. А в каникулы установил себе срок-максимум: первое сентября. Вот сентябрь и пришел, а я вообще забыл о своем решении и заперся в ванной. Опять не получилось начать жить на чистовик. Может быть, это просто свидетельство, что ничто человеческое мне не чуждо?

Я выпустил из ванны воду, вытерся и пошел в комнату. Наша квартира коммунальная, но соседку мы видим раз в год по обещанию. У нее дочь вышла замуж за немца, и соседка по вызову в ГДР внуков нянчит. Ей хорошо и нам.

Наконец-то один! Я пил чай, смотрел в окно, разгуливал из прихожей в кухню, в комнату. Люблю оставаться один. Жду этого момента, а потом самоупоенно бездельничаю. И Тонина порхает в воздухе.

Я уже тогда знал, что опоздаю в школу. Не соби-
рался опоздать и все-таки хотел.

На школьном дворе и в вестибюле было пусто. Под-
ходя к лестнице на второй этаж, я услышал смех Тони-
ны и испугался. Она всегда очень громко смеется, одно-
временно торжествуя и удовлетворенно. У меня
внутри живота будто кишки кто-то в кулак сжал. Я, не
оглядываясь, выскочил из школы и долго еще не мог
отдышаться. Дрожь в руках и ногах.

На улице по-прежнему солнце. Ничего не измени-
лось. Ну конечно же, я пробыл в коридоре не больше
двух минут. Увидел стены, по которым скучал все лето,
услышал ее смех и остался незамеченным.

Я махнул подальше от школы и стал шляться, раз-
глядывая витрины, прохожих и дома. На улицах я
всегда ищу Тонину. В автобусе, в метро мы можем слу-
чайно столкнуться. Бегу в магазин или в кино и знаю:
она там. Но город большой, соседа по лестнице мож-
но год не увидеть. А я все жду встречи с Тониной.
Внезапной. Хочу этого и боюсь. Иногда и гуляю ради
такого состояния — желания и боязни. А лучше
всего встретить ее так, чтобы она меня не увидела.
Еще бывает, найду похожую на нее со спины жен-
щину и тащусь за ней, воображаю, будто это Тонина.
И лица ищу похожие. Но этот тип лица редко встре-
чается.

Сейчас я точно знаю, что не встречу ее. Она ведет
урок литературы в нашем девятом «А». И мне странно
хорошо и спокойно. Даже тело движется свободно, как
хочет. Я не вжимаю живот, не выпячиваю грудь, не рас-
правляю плечи, не напускаю на лицо значительность,
как обычно, потому что всегда готов наткнуться на нее.
Или вдруг она в автобусе едет и в окно смотрит, а я,
ссутулясь, как кочерга, иду с тупой рожей.

Магазины еще не открыли. У комиссионного целая
очередь с сумками, а один мужик с мешком, по очертан-
ниям мешка понятно — у него там люстра. Мое знако-
мое кафе тоже закрыто. Двери распахнуты, а в дверях
стул. Я еще походил по улочкам, заглядывая во дворы.
В одном бил фонтанчик, а в чашке фонтанчика купа-
лись воробьи. Здесь я посидел на скамейке. Потом обо-
шел двор и прочел все надписи на асфальте: «Я люблю

Вову», «Пират», а на стене: «Танька — дура». Интересно, кто же такая эта Танька?

В одиннадцать открыли кафе. Я зашел и взял чашечку черного полупрозрачного кофе без сахара. Хотел купить сахар и пирожок, но не купил, потому что представил: Тонина видит, как я невозмутимо беру кофе без сахара, сажусь за столик и, задумчиво глядя перед собой, мелкими глотками уничтожаю этот благородный напиток. И думаю о чем-то существенном. Рядом на подоконнике, в крышке от торта, свернувшись, спит кошка.

Я тешу себя мыслью: она не найдет меня в классе и, может быть, удивится, где же я, почему не пришел. Заболел? И, может, ей станет чуть-чуть грустно (вдруг она хотела меня видеть) и скучно вести урок, потому что я не слышу, что она говорит. А еще меня не покидало беспокойство: сам себя лишил возможности сидеть сейчас с ребятами, слышать ее, смотреть на нее, придется объясняться с нашей классной за прогул, а еще все это глупости, и сам я мучаюсь, чтобы ее помучить. А она ведь не будет мучиться — заметит только: нет меня. Она, конечно, хорошо, можно сказать, даже отлично ко мне относится, но у нее своя жизнь, у нее есть муж и маленькая дочка.

Я допиваю кофе и знаю: моя любовь, моя неестественная жизнь когда-нибудь кончится. Может быть, с окончанием школы. Я хочу этого и не хочу. Я все понимаю, хотя, наверно, в чем-то заблуждаюсь, потому что только об этом и думаю.

2

Вся моя жизнь связана с мамой. Я плохо помню детство. Не помню его русла, течения, отмелей, водоворотов, берегов. Детство для меня — ряд картин, застывших, но очень ярких, цветных, хорошо наведенных на резкость. И будто картины эти развешаны в темной комнате, каждая подсвечена, а источник света неизвестен.

Вот я, что-то натворив и отстояв в углу, робко вхожу в кухню для примирения. Только и требуется сказать:

«Мама, прости меня, я больше не буду». А я не могу этого произнести, топчусь у порога и вот, уже весь в слезах, зарываюсь лицом в передник и дышу запахом мамы. Пахнет от нее чем-то родным: телом и теплом. Она гладит меня по голове. Я прощен.

И все это символ благополучия, незыблемости и справедливости мира. А мама — самый главный генерал.

Какое доброе у нее лицо! Мягкие щеки, нос и даже лоб. Я трогаю это лицо, тихонько глажу, и под моими пальцами оно — как нежная и бесформенная глина. Вылеплю что хочу. Вылеплю себе маму. Снова все сделаю, как было. Только глаза не трону. Они очень светлые (серо-голубые, что ли?) с черным-пречерным ободком коротких ресниц. Я сижу у нее на коленях, обнимая за шею. И пока мы сидим вот так, ничего плохого с нами не может случиться.

Да со мной ли это было? И было ли вообще? А ведь если и было, то давно снесена в темную комнату и висит среди других цветных картин и эта, никому не нужная.

С отцом иначе. Я с ним вместе не жил. Я с ним встречался, гулял, гостил у него. Отец мне всегда нравился.

Сначала я ходил к нему с мамой или бабушкой, но больше, чем отец, меня занимал тяжелый стеклянный шар. В нем замок на горе. Встряхнешь шар, и там, над горой и замком, пойдет снег.

Когда я подросток и начал ходить к отцу без провожатых, меня стал интересовать сам отец. Я даже завел общую тетрадь, чтобы делать записи о нем. Собирал различные его высказывания. Тетрадь заполнялась несколько лет.

На первой странице красными печатными буквами начертано: «Общие сведения об N». А дальше — ответы на вопросы, которые я считал важными для каждого человека; задавал отцу и записывал ответы. Про тетрадь, разумеется, отец не знал. Вот записи на первой странице:

«1. Отношение к жизни: положительное (?).

2. Отношение к смерти: на вопрос, что бы он сделал, если бы пришлось умереть через двадцать четыре часа, ответил: «Хорошенько выпался бы, умылся, поел и пошел гулять. А потом бы умер».

3. Отношение к любви: существует.

4. Отношение к призванию: существует, но для большинства найти его труднее, чем любовь. Любовь можно найти не раз, а призвание одно.

5. Отношение к Родине: на вопрос, что такое Родина, ответил: «Не задавай глупых вопросов». Я сказал, что мне в самом деле интересно, что он думает. Ответил: «Это все, что тебя окружает, с чем ты родился и с чем ты умрешь».

6. Отношение к женщине: хорошее (?)».

И т. д. в том же духе.

Отцу сорок шесть лет. Он невысокий, худой, хорошо одет. Любит чистоту. Он математик и много работает, часто ездит на всякие международные конгрессы, симпозиумы, конференции. У него большая библиотека, и не только техническая. Он разбирается и в литературе, и в живописи, и в музыке.

Живет отец в новом районе, на двенадцатом этаже блочного дома, в однокомнатной квартире. Две стены стеллажей (и в прихожей книжные полки), стол, кресло, тахта, бумаги, рулоны, лампа с большим абажуром, пишущая машинка и много интересных безделушек. В центре комнаты висит люстра, а над журнальным столиком с потолка на шнуре низко спущен светильник, похожий на мыльный пузырь, нежно-голубой, с разноцветными переливами. Тяжелые шторы. Часть вещей современных, часть старинных, но все одинаково любовно подобраны, и у каждой свое место.

Одним словом, если у отца и есть беспорядок, то какой-то строго продуманный, художественный. У нас с матерью — другое дело. По уши увязли в быте. С этими женщинами всегда так. Уж на что моя мать не красится, а все равно баночек и флакончиков куча. Зеркало повесит в комнате, а место ему в прихожей; тряпки валяются, посуды натащит из кухни. Кровать тут же тебе, с покрывалами обывательскими. А ведь можно тахту купить и постельное белье утром в шкаф укладывать. И беспорядок у них, у женщин, самый непривлекательный, житейский.

Всегда человек кажется загадочным и интересным, пока не попадешь в его жилище. Поэтому я так и оберегаю наш дом от чужих глаз. Не хочу, чтобы меня

знали. Конечно, если бы я жил с отцом, я бы некоторых специально приглашал — пусть посмотрели бы. А интересно хоть краем глаза заглянуть, как в доме у Тонины.

3

В той же тетради, где я вел «дело отца», но с обратной стороны печатными буквами написано: «Разные мысли». Подразумевались «умные мысли». По большей части мысли эти брались из книг, которые я читал.

Среди прочих высказываний я особо выделил два разряда, которые меня в свое время сильно расстраивали:

1. «Никто не может по-настоящему знать другого человека». Это я вычитал у Олдингтона в романе «Все люди — враги». «Что знаем мы о себе?» Это Грин. А потом пошло как по маслу, кого бы я ни читал, почти теми же словами: «Сейчас мы еще не понимаем себя и редко понимаем других...», «Что мы, в сущности, знаем о других людях? В лучшем случае можем предположить, что они похожи на нас».

А мне хотелось знать — в основном, конечно, — про других. Хотелось знать, кто он и какой, мой отец.

2. Другие высказывания, тоже повторенные многими писателями, о том, что мы не выбираем ни любовь, ни друзей. Относительно любви я сразу согласился, а насчет друзей — обидно. И опять почти одинаковыми словами: «Дружба не выбирает... она возникает кто знает из-за чего, как любовь».

Что касается Капусова, я его выбрал. Наверно, это и не дружба. Так что-то, не поймешь — не разберешь. У меня с первого класса один настоящий друг — Слава Дорогин. Он в прошлом году переехал в новый район и ушел в другую школу. Связь мы с ним не потеряли, но как раз когда ушел из школы Славик, появилась у нас Тонина. Со мной такое началось, что, во-первых, никому не расскажешь, во-вторых, все мои переживания стали отнимать массу времени, в-третьих, я, видно, и сам изменился.

Тут как раз Мишка Капусов под руку и подвернул-

ся. Было это в сентябре прошлого года, после сочинения, которое задала нам Тонина.

Я с первого дня, как увидел Тонину, стал лезть из кожи вон, чтобы произвести на нее хорошее впечатление. По литературе и русскому у меня всегда были приличные отметки, но не вспомню случая, чтобы когда-нибудь за сочинение я получил пятерку. У Тонины тоже не надеялся. Дала она темы сочинений. Две — по Пушкину, третья — свободная: «С чего начинается Родина...»

И тут со мной что-то случилось, озарение какое-то. Я стал писать про бабушкин дом, где жил в детстве. Про речку Охту, там, за городом, узкую, и воробью по колено, краснеющую перекатами. Про то, как однажды мы вышли утром к этой речке и ахнули: речка затянута нежным пушком тумана, а высокий берег оглажен им и розов от солнца. И мы с бабушкой поняли — это и есть молочная река с кисельными берегами. Я вспомнил, как каждый вечер мимо нас по дороге возвращалась домой рыжая корова с крашенными масляной краской синими рогами; как осенью мы собирали в лесу грибы, а огород наш наводняли несметные полчища свинух, крепких, с туго подвернутыми краями шляпок. И про родник, и про то, как для коров на грузовике привозили соль. Она лежала кучей у фермы, и, проходя мимо, я обязательно выбирал себе серый крупный кристалл и засовывал под язык.

Плана, как полагалось бы, я не составил, просто записывал все то, что, оказывается, надежно хранилось во мне много лет, а я и не подозревал.

Двух часов мне не хватило. Все сдали тетради и расходились, а я продолжал сидеть и строчить с невероятной быстротой. Тонина подошла, и я сказал умоляюще:

«Еще бы полчасика!»

Она села за стол проверять тетради. В школе стихло, только уборщица шаркала в коридоре, что-то терла и мыла.

Кончили работу мы с Тониной почти одновременно, и я остался ждать, пока она проверит мое сочинение. Сидел за своей партой и следил за каждым ее движением. Прочла.

«Ты наделал ошибок,— сказала она,— но за содержание я тебе поставлю пятерку. Мне очень понравилось твоё сочинение».

На следующем уроке литературы Тонина хвалила меня и заставила прочесть сочинение вслух. А после уроков за мной увязался Капусов и сообщил, что Тонина очень хорошо обо мне отзывается. Откуда он знает? Как же не знать, он же её племянник. Я обалдел. Племянник! Надо же, а такое дерьмо!

С Капусовым я проучился три года. Его отличительная особенность — жить без друзей. Ребята его не любят. Он странный какой-то, всех презирает или делает вид, что презирает. Небольшого роста, плотный, высокомерно смотрит через очки-линзы; поздороваяешься с ним: захочет — ответит, захочет — нет. Я уже с ним года два как здороваться перестал. Никогда не видел, чтобы он отвесил кому-нибудь оплеуху, носился по партам или дразнил девчонок. А тут, смотрю, разговаривает он со мной как-то робко, застенчиво — ему, наверно, тоже хочется с кем-нибудь дружить. Я его даже немного пожалел. Хотя не это главное. Первая причина нашего сближения для меня: Капусов — связующее звено с Тониной, человек, который часто видит её, говорит с ней. Я не хочу сказать, что подружился с ним в корыстных целях, нет. Тем более, инициатива исходила от него. А мне было просто интересно.

Время от времени я стал беседовать с Капусовым.

Учится он посредственно. Как же я был поражен, когда выяснил, что парень он очень начитанный и развитой. Хоть с кем поговорит. Даже Библию прочел. А я посмотрел у него тогда эту Библию — толщиной с том энциклопедии и содержание совсем смурное. Тут я понял: мне бы не прочесть, слабо.

С Капусовым общаться полезно. Я от него многое узнавал. Только при этом чувствовал себя как карась на сковородке. И так и эдак выворачивался, чтобы невежество своё скрыть и разговор поддержать. Если бы Славка слышал наши разговоры, он бы меня, честное слово, презирал или умер бы от удивления.

Да только не придется ему услышать. А сам я ему не скажу. Славку я люблю, он мне как брат. Он меня понимает, с ним обо всем говорить можно. Даже про

Капусова объяснить — поймет. Но это связано с Тонинной. Об этом нельзя.

Вот так и хожу по острию ножа. Сначала робко ходил, потом осмелел, даже нравиться стало. С отцом тоже отношения изменились. Раньше я бомбардировал его вопросами, а тут заткнулся. И тоже будто роль какую-то стал играть.

4

Второе сентября, суббота.

Приятно после каникул вернуться в школу, встретиться с ребятами, со всеми разом поговорить. Черепанова записывает желающих в школьный театр-студию. Коваль толкает в бок:

— У Калюжного ботинки на каблуках. Угар! Обрати внимание.

Я и не заметил, а главное, директриса пока не заметила, заставила бы снять. Кстати, я постеснялся бы в таких ходить, несолидно все это.

Еще я узнал, что Черепанову оставили старостой, Дмитриев летом был на острове Диксон (у него отец там служит), в школе новая биологичка и библиотекарьша. Коваль звал посмотреть бульдога, ему подарили родители.

С тех пор как ушел из школы Славик, я сидел на одной парте с Ковалем. Первого сентября, пока я прогуливал, к Ковалю подошел Капусов и сказал, что занимает для меня место. Но Коваль послал его подалее, и я очень обрадовался.

Коваль добродушный человек, полная противоположность Капусову. Он дружит со всеми. За лето у него борода выросла. Под подбородком длинные рыжие волосины, довольно редкие. А на щеках растительности нет. Директриса встретила его и говорит:

— Ну-ка, Коваль, подойди сюда. Тебе бриться пора.

Коваль со своей всегдашней придурковатой улыбкой сострил:

— Я еще маленький. Мама в обморок упадет, если я побреюсь.

Врет, конечно. Брился все лето, чтобы лучше росло.

Еще новость. Нам поставили новую доску. Испишешь ее, потянешь за ручку, она вверх переедет, а под ней чистая. Вторую испишешь — с обеих стирать приходится. Физик наш доволен. Туда-сюда доской ездит. Никогда столько не писал. По-моему, физику просто нравится поднимать и опускать доску.

Капусов, конечно, тут как тут. За лето он почти не изменился, разве что посolidнел немного. Интеллектуально общаться лезет. Где я летом был? А я нигде не был. В городе сидел. На картонажной фабрике работал. Объявление прочел, что школьников на каникулы приглашают, и пошел. Нудная механическая работа, но всего половина дня. В двенадцать уже свободен. Зато плащ матери купили и мне на зимние ботинки тридцатка отложена.

— Да так, — отвечаю, — в городе проболтался. Было кое-что задумано, да сорвалось. А ты?

Раздулся он, как петух, и говорит:

— Мы, старичок, давнишнюю мечту с отцом осуществили: Эстонию объездили. Сказка. Мягкий балтийский пейзаж, Ревель, средневековье. Длинный Герман и Толстая Маргарита. Оливисте — Нигулисте. Вана Тоомас — Кянну Кукк. Уютнейшие в стране кафе и рестораны. Крепостные стены. Аромат бургерства и доминиканцев. Камень и красная черепица...

Из Капусова сыпалось как из рога изобилия. Мы прохаживались по коридору, и он молотил языком. Я отключился.

Под окном — кленовая аллея. Ветви шевелятся, тянут лапы. Из фрамуги свежестью прет. По коридору носятся парни и девчонки в коричневых платьях. Надя Савина с подружками прогуливается, все время навстречу попадает. Потом у окна встала, делает вид, что учебник читает, а на самом деле старается на глаза мне попасться. Кикимора болотная. Отутюженная, отглаженная, волосинка к волосинке зализана и хвостик на затылке. Красная как рак.

Я опять включился. Капусов еще изливается:

— ...само путешествие, чувство раскованности и раскрепощенности, ожидание встречи с Несбывшимся...

Тут меня такая злость взяла! Сейчас, думаю, гадость какую-нибудь скажу. Встреча, видите ли, с



Несбывшимся. Меня по Эстонии не возили, не нюхал я, как доминиканцы пахнут, я все лето канцелярские папочки складывал в стопочки. Несбывшееся!!! Папочки не хочешь поскладывать, дурак, идиот несчастный!

Прозвенел звонок, и я даже обрадовался, что промолчал: скажет, из зависти. И в самом деле, завидно немного. Вот только рассказывать Капусов не умеет. А иногда кажется, что говорит он чьи-то чужие слова.

5

Прихожу из школы — меня уже Славик дожидается, я ему ключ под половиком оставлял.

Мы с мамой накануне все вещи из комнаты вынесли. В прихожей — рулоны обоев, мел, пакеты клейстера. За сегодняшний вечер и воскресенье ремонт сделаем.

Славик только тридцатого приехал из пионерлагеря. Первую смену в старшем отряде был, а остальные две пионервожатым. Все-таки какая-то жизнь, и достаточно насыщенная.

В мае отец спросил, согласен ли я с геологами поехать, коллектором. Не то что согласен — я до потолка прыгал. У отца друг — начальник партии. Работа на Кольском. Спать в палатках. Охота, сопки, море. Я размечтался, учебник геологии прочел, набрал книг о природе, климате, по этнографии.

Прошел май, отец все обещал, но как-то уклончиво и наконец сказал, что ничего не получилось. А зачем-то предлагал, я же не сам напросился. Я ужасно расстроился. Через неделю на фабрику работать пошел. Не надо было обещать, а уж если пообещал, выполни во что бы то ни стало.

Мы со Славиком уложили пол старыми газетами и взялись за дело. Самое трудное — потолок размыть, а размывали мы его шваброй. Заодно уж потолок продолбили от люстры к окну и шнур спустили низко, над моим столом, чтобы плафон повесить, как у отца. Желобок заделали алебастром с песком и побелили из пылесоса. Шов, правда, от проводки остался изрядный.

По стенам и окну — подтеки меловые, а на полу —

голубые лужи. Вкусно пахнет ремонтом. Выбираем сухой островок, садимся, ужинаем консервами из банки. В кухню не идем; не потому, что боимся ее запачкать, а уходить от своей работы не хочется, любимся.

— Куда ты думаешь поступать после школы? — спрашивает Славик. Он выбирает булкой соус из консервной банки.

— Не знаю.

— Я, наверно, в электротехнический, мне одна дорога. Это у тебя какие-то гуманитарные устремления появились.

— Совершенно не представляю, — говорю я. — Не знаю, что хочу. Жалко, отец меня с экспедицией подвел. Я ведь надеялся, размечтался, и все впустую. Я считал, после экспедиции для меня хоть что-то решится. Может, я бы уже твердо знал, что буду поступать в геологический. Хорошо бы присмотреться сначала, чтобы не наобум...

— Впереди два года, времени хоть отбавляй, — говорит Славик, — еще надумаешь.

— Помнишь, я тебе про Капусова рассказывал? Он на филфак собирается. Спрашиваю, чем филологи занимаются. Представляешь, не знает, а честно признаться не хочет. Хвастается, в армию не пойдет: с таким зрением, как у него, не берут. А я, если до выпускных ничего не решу, до армии поработаю, а после армии видно будет. Лишь бы куда поступать не стану. Отец говорит, что призвание найти труднее, чем любовь.

Закончили за полночь, уже мама с завода со второй смены вернулась. Славик у нас остался ночевать. Мама спала в прихожей на кровати, а мы со Славиком рухнули в кухне на матрасы и заснули как убитые. Утром просыпаемся — чайник сопит, вкусно пахнет.

— Вставайте, трудяги мои, — говорит мама. — Я уже в магазин сбегала, завтрак готов. И клейстер сварила, стынет.

Оклеили часа за три. Мама мажет обои, мы клеим. Мебель затащили. Письменный стол торцом к стенке поставили. Книжную полку прибили, плафончик над столом повесили. У меня за шкафом что-то вроде кабинета получилось. Комната преобразилась и сильно облагородилась. Насколько, разумеется, возможно при

полном неумении мамы придать интерьеру современный и уютный вид.

Одно неудобство: Славик, знаменитый электрик, что-то недоучел, и поэтому плафон над столом можно зажечь только с верхним светом одновременно. Но это уже детали.

Вечером пили чай с тортом, и я поехал провожать Славику. Вернулся поздно, мама уже спала, ей в понедельник в первую смену. А я еще долго не ложился, сидел на кухне.

Однажды я дожидался Славику, бесцельно перекладывая стопку учебников на его столе, и наткнулся на исписанные тетрадные листки. Это были стихи. Славик никогда не говорил, что пишет стихи. Я положил все на место и словом ему о своей находке не обмолвился. Может быть, и у него есть какая-нибудь своя Тонина, да только он стесняется сказать.

Во всем доме погашен свет. Слабо мерцают цепочки лестничных окон. И кажется, что за пределами нашего каменного двора-колодца ничего нет. За его пределами и сверху — Вселенная, глубокая, черная, с редкими острыми иголочками звезд. Ночь налила наш двор темнотой и покоем. Сквозь тишину пробивается только мирное дыхание спящих.

Завтра я увижу Тонину.

6

Четвертое сентября.

На доске написано: «Сдавать деньги на автобусные карточки Черепановой», «Запись на баскетбол у Дмитриева», и рожа нарисована. Скоро я увижу Тонину. Может быть, она после урока меня подзовет, что-нибудь скажет, спросит. И я отвечу. Неважно что.

Ее еще нет в школе. Я чувствую. Она в дороге. Я знаю, каким она автобусом едет и сколько времени тратит на дорогу. У нее сегодня три урока в трех наших девятых. Теперь она с каждой минутой приближается. Должно быть, и не знает, что едет ко мне на свидание. Осталось полчаса немецкого и двадцать минут большой перемены. Все повторится. Всякий жест, слово, всякая

интонация превратятся в событие, обретут свой тайный смысл.

Придет, положит сумку, сядет за стол. У нее сумка красивая, и туфли красивые, и платье замечательное. Она сама очень красивая. Некоторые так не считают, но это дело вкуса. Что же говорить о ее недостатках, если она так хороша, что недостатки эти оборачиваются достоинствами. Они дополняют ее. От них горчинка, такая же, как в ее духах.

У нее прекрасные волосы, светлые, тонкие, несовременная прическа, но очень милая: пушистая голова и узел на затылке. У нее прекрасные губы и мягкий массивный подбородок, у нее чудесные глаза. Они большие и необычно поставленные, будто приспущенные под тяжестью век, чуть заплаканные. И от этого выражение лица какое-то печальное и значительное.

Мне всегда казалось, что такая женщина должна нравиться мужчинам. Поначалу я даже не мог понять, что в ней есть особенное. Не лицо, или голос, или привычки, а что-то неуловимое. А однажды понял. Она шла по коридору с нашим завучем и что-то говорила, а он держал ее под руку. Меня осенило. Я будто сам почувствовал на сгибе локтя ее руку.

Одни ходят под руку, будто танец старинный танцуют. Девчонки наши повиснут друг на дружке, расслабятся телом и мотаются из стороны в сторону. Мне иногда приходится ходить под руку с мамой. Она никогда на мне не висит, а вот рука ее как плеть, чужая и ей и мне.

Тонина же изрядно опирается на локоть спутника, но не так, будто ей тяжело, а энергично. И вместе с тем такое впечатление, словно она доверяется ему, — походка ее чуть-чуть неверная, потому что идет она на высоких каблуках. Она совсем рядом, голос ее щекочет ухо.

Мне бы раз пройтись с ней так. Хотя я бы перепугался до смерти. Нет, мне ничего не надо. Только видеть ее. Сидеть под шапкой-невидимкой и смотреть на нее. Во мне всегда борется страх быть замеченным ею и незамеченным тоже. А еще лучше сидеть с ней рядом и молчать. Мне бы хотелось дарить ей цветы. Мне бы хотелось быть ее родственником.

Коваль давно пихал меня в бок. Я включился. Все говорят по-иностранному, только Коваль в ухо по-русски:

— Пойдем после уроков в бассейн записываться. Нужно момент не упустить. Там набор маленький, а у нас в классе уже половина парней собралась.

— Некогда,— буркнул я.— Дела у меня.

И вдруг вспомнил, что бассейн — наша со Славиком заветная мечта. Так и не сбылась мечта.

А Надька Савина опять на меня пялится. Делает вид, что смотрит в окно, а на самом деле — на меня. Она в меня влюблена. Выдра.

Пять минут до звонка. Через двадцать пять минут все начнется сначала. Неужели я веду себя так же по-идиотски, как Надька? Если бы кто-то из ребят заметил, если бы Капусов заметил, меня бы задразнили, а Капусов как-нибудь особенно гнусно и Тонине бы все в издевательской форме преподнес. Нет, все думают, что я люблю литературу и с Тониной, само собой, в прекрасных отношениях. И она меня любит — не двоечников же ей любить.

Ну вот, звонок с урока. Все вскакивают, двиганье стульев, шлепки папок и портфелей. Все хватают деньги и мчатся в столовую. Выхожу во двор и иду за школу. Здесь буйный, запущенный за лето пришкольный участок. Сажусь на какой-то грязный ящик. Перед лицом колышутся цветы с высокими прозрачно-розовыми стеблями. Она, наверно, уже пришла и в учительской. Ну, вот и дождался.

7

Все началось в прошлом году. Тонина, и капусовщина проклятая, и мои мучения. Учусь я прилично, без троек. Но и без пятерок. Четыре балла — это для меня.

Никогда я не путешествовал; кроме лагерей, нигде летом не бывал. В детстве, правда, ездили к родственникам в Молдавию, со школой — в Выборг, а с мамой — по профсоюзной путевке в Петрозаводск и Кижы. Это все.

У нас отличная районная библиотека. Я знал и

раньше, кругом такое обилие художественной литературы, что осилить ее невозможно. Нельзя позволить себе читать все подряд. И еще — читаем мы не только для удовольствия.

Читать я всегда любил. Смеялся над «Двенадцатью стульями» и плакал над «Тремя товарищами». Отдавал себе отчет, что до некоторых книг не дорос. Одним словом, я старался читать хорошие книги. Но в моем чтении не было системы.

В музей и театр ходил с классом.

Со Славиком устраивал турпоходы с костром, печеной картошкой, а однажды ночевали в стогу. С Капусовым мы все время разговариваем. Со Славиком иначе — мы понимаем друг друга без слов. Сидим у костра, и я знаю, мы одними глазами смотрим на костер, лес, на красную ржавую речку. И чувствуем одинаково, вкусы у нас одинаковые, и мечтаем мы об одном.

Вот, например, завести бы велосипеды и разъезжать по области. Капусову не понять. Зачем велосипеды, когда лучше машина. Зачем вертеть педали и собирать на себя пылицу. А ведь он того не увидит из окна машины, что увидим мы, катя по обочине. И не хозяин он себе. Ну будет у его отца машина, все равно сам Капусов не поедет на ней куда хочет, не остановится, чтобы повалиться в траве. Да и не нужна ему трава. Он поедет с родителями или на дачу, или памятники архитектуры смотреть. А нам со Славкой хорошо было. Купили кое-какую краеведческую литературу, а ездили пока на автобусе.

Как-то капусовский отец сказал:

— Не признаю природы без архитектуры. Природа гола и угрюма, пока она пуста, пока кроны деревьев не пробивает колокольня или шпиль. Тогда и природа становится одухотворенной, и кусок этой природы получает законченность.

Ничего себе! Красиво, конечно, когда замок на горе стоит. Но и гора сама по себе ценность. Она лежит, живая, как слон. Она одухотворена, она обитаема. Живут здесь птицы, и кроты, и насекомые всякие. Природа — это самое живое и подвижное. Она не может быть пустой. И все интересно — и колокольня, и шпиль, и деревья. И важно все одинаково. Капусову и его отцу

плевать на природу. Она интересует их, поскольку отображена в живописи.

Ну, это ладно. Столкнувшись с Капусовым, я не мог не ощутить себя профаном по части искусства и впал в глубокое уныние. Капусову легче. Он с детства знает, что такое импрессионизм и чем он хорош.

Капусов сказал:

— Мой отец искусствовед.

— Это, наверно, нужно уметь рисовать, — догадался я.

— Совсем не обязательно. Искусствоведы — теоретики и критики искусства.

— А где он работает?

— В Эрмитаже.

Я понимающе хмыкнул, хотя картина не больно-то прояснилась. Тогда же, год назад, как-то после школы я впервые побывал у Капусова дома.

Как только за нами закрылась дверь, я обмер. Попал в пещеру Али-Бабы.

Прихожая залита неярким розовым светом и вся, от пола до потолка, завешана разными фонариками, масками, колокольчиками. Чего здесь только нет!

И вдруг из комнаты, обтекая угол, выливается, как лужа молока, белый кот с голубыми глазами. Томный, бескостный, а взгляд — человеконенавистнический. Сразу видать — погладить не пытайся.

— Породная кошка, — сообщил Капусов, — на улицу не пускаем.

— Сопрут, — сочувственно сказал я.

— Нет, не сопрут. Ты попробуй к нему подойди. Зверь! Просто от песка и пыли могут блохи завестись, вот и не пускаем.

Пещера оказалась трехкомнатная, а комнатки маленькие, потолки низенькие. Все уставлено книгами, а свободные места увешаны картинками, деревянной резьбой, фотографиями в старинных рамках, иконами, прялками и керамическими пластинами, устелено пледами, заставлено глиняными кувшинами и плоскими всех мастей.

У Мишки Капусова своя комната, свой письменный стол, свои книги. И тоже все завешано и заставлено. Не хуже, чем у моего отца. Только у отца много строже



и, пожалуй, удобнее. Попробуй поживи в развале из книг, пластинок, подушек и подсвечников. К тому же со всего этого нужно стирать пыль — тоже проблема.

Капусов старался понять, какое впечатление на меня произвело их жилище. Честно сказать, хорошее. Люблю, когда есть на что поглазеть. Я помаленьку все рассматривал, но был непроницаем. Капусов познакомил меня с отцом и мамой.

Отец — небольшой, кругленький, быстренький и говорливый. Щеки бритые, а на подбородке борода. И жена под стать ему — полненькая хлопотунья. На кого-то или на что-то она похожа. Никак не мог вспомнить. Встрепанная какая-то, но не рыхлая. Глаза выпуклые, светло-зелененькие буравчики. В гостях у Капусовых двое мужчин с бородами.

Мы вместе с родителями и гостями сели обедать за тесный стол.

Я привык есть с мамой на кухне без церемоний. Но я знал, мясо принято резать, держа нож в правой руке, а вилку в левой. Так и орудуешь одновременно обоими предметами. Дома я никогда не пользовался этим правилом, потому что не умею есть левой рукой. А тут глянул — крахмальная скатерть, супные тарелки на мелких стоят и подставочки для вилок и ножей. Глянул и вспомнил. Сначала надеялся, на второе будет рыба или котлеты, их резать не нужно. А когда чего-нибудь очень боишься, оно обязательно и случается.

Принесли мясо, да такую подошву, что ее пилой пилить нужно. И началось. Стал я мечтательность разыгрывать. Отрежу кусок правой рукой и положу нож, будто задумаюсь, а потом хватить вилку все той же рукой, якобы по рассеянности, наколю мясо и отправлю в рот. Сразу все мясо тоже не порежешь, бескультурно получится. Нужно по кусочку. Совсем замучился. А за столом жонглируют умными словами и именами.

Кот развалился на тахте, в прищуре глаз — довольство, сытость и презрение. И я вспомнил, что у нас лет пять жил кот, гладкий, серый в полоску — обычный плебейский кот. Таких Барсиками называют. Но характером он был куда лучше, по сравнению с этим — душа-кот.

За чаем еще хуже. Почему-то подумал: только бы не

подавиться. Со мной такое случается раз в год, с чего бы и вспомнить. И случилось. Глаза вылезли, весь вспотел, побагровел, стараюсь сдержаться, платка носового, разумеется, нет. Хорошо, капусовская мамаша догадалась проводить меня в кухню. Откашлялся.

Возвращаюсь, а там опять словами жонглируют. О чем речь, не понимаю. Тут я ощутил необходимость завести словарь русского языка, иностранных слов и другие словари. С этого момента и родилось мое приращение к справочной литературе.

По дороге домой мне было очень грустно. Комплексы выросли величиной с дом. И вдруг я развеселился. Понял, на что похожа Мишкина мать. На кочан капусты. Капуста и есть, честное слово.

8

Я стал бывать у Капусова. У них в доме почти всегда гости. Сидят при свечах, толстенных, шершавых, как ствол дерева. Сухое вино потягивают, кофе пьют. Все не как у нас с мамой.

На днях изобрел, как самому отливать толстые свечи. Для формы лучше всего жестяные банки от кофе, нужно только срезать верхний ободок и проколоть посередине донца дырку. Фитиль — нитяная веревочка от торта — продевается в банку и крепится по центру на проволоочной распорке. Плавишь обычные свечи по восемнадцать копеек, подкрашиваешь губной помадой и заливаешь в банку-форму. Когда воск застыл, опускаешь в кастрюлю с кипятком и тянешь за фитиль сверху. И вот она — круглая, толстая, цветная. Можно сразу, пока свеча теплая, обмотать ее по спирали лентой фольги. Фирма!

Теперь я не завтракал, собирал деньги и раз в неделю покупал книгу по искусству. Я падал в пропасть. Я невежествен. Мало читал, мало видел и мало знаю. Но меня удивляла всеядность Капусовых. Все искусство, созданное на протяжении многих тысячелетий, восхищало их в равной мере. И наскальная живопись, и Венера Таврическая, и Матисс, и иконопись. Все одновременно.

О Капусове-младшем и говорить не приходится. Есть ли у него свои вкусы?

А может, так и должно быть? Может, истинный вкус заключается в том, чтобы всему отдавать должное, а значит — все принимать? Мой отец тоже принимает все искусство безоговорочно, но ему не все нравится.

Искусствоведы, по специфике своей профессии, любят все искусство подряд, кроме передвижников. Такой я сделал вывод. Репина, правда, Капусов-отец признает.

Я пытаюсь разобраться, что мне нравится, а что нет, и все время попадаю впросак. Мне некоторые передвижники нравятся больше некоторых импрессионистов. У безумного Матисса красные люди в дикой пляске закидывают себе ноги за уши, как дужки от очков. Что это такое? Гоген — раскрашенные картинки. Мне не нравится наскальная живопись.

Не нравится античная скульптура. Она вся в движении, в пластическом танце, только движение это кажется мне застывшим, мертвым. Почему Венеру Таврическую считают эталоном красоты? У нее змеиная головка, некрасивые ноги и висячий зад.

Я купил иллюстрированную книгу «Репин». Прекрасный художник. Говорю Капусову:

— Замечательная картина «Садко».

Там изображено подводное царство. Чувствуется глубина. Перламутровость, нереальность фигур, предметов.

Капусов посмотрел на меня через свои очки-линзы и безапелляционно заявляет:

— Аквариум с проститутками.

— Что?! — Я взвился. — Ты не имеешь права!.. — Да и осекся, хоть не скоро остыл.

Зачем же демонстрировать свое непонимание? Нужно знать, что хвалить, что положено хвалить. Если мне лично картина понравилась, это совсем не означает, что она хороша с общепризнанной точки зрения.

У меня не развит вкус.

Я не понимаю, чем хороши иконы. Сейчас каждый интеллигентный человек должен увлекаться иконописью. Отец объяснял мне: примитив, краски, композиция, история. Понимаю, даже чувствую, есть в них что-то. Но не вижу — что.

Я не понимаю, в чем прелесть сказок и детских книг. Все восхищаются сказками, Карлсонами и Винни Пухами. Мультяшки смотрю с удовольствием, а читать детские книги — слуга покорный. Догадываюсь, из этих книг я вырос, может быть, не так давно и, наверно, не дорос, чтобы к ним вернуться. Но это домыслы — сказок я не принимаю.

Я не люблю стихов. Это кощунство. Никогда в этом не признаюсь. Когда Тонина спросила, кто из поэтов мне больше всего нравится, я был в таком замешательстве, что ответил первое пришедшее на ум:

— Маяковский и Северянин.

Она удивилась, и я сразу понял, что промахнулся. Если бы еще знать наверняка, кто такой Северянин! Я покраснел до корней волос, запылал, как печь. А это случается редко, у меня капилляры глубоко спрятаны.

Стихи я не читаю. Я воспринимаю их как что-то неестественное. Мне хочется их пересказать прозой.

Беру с полки первый попавшийся сборник стихов. Заболоцкий. Открываю первую попавшуюся страницу. Тычу пальцем в первую попавшуюся строчку:

Здесь бабы толсты, словно кадки,
Их шаль невиданной красы,
И огурцы, как великаны,
Прилежно плавают в воде. (Не в рифму!)
Сверкают саблями селедки,
Их глазки маленькие кротки,
Но вот, разрезаны ножом,
Они свиваются ужом... и т. д.

Куда проще: на рынке торгуют толстые, как кадки, бабы в шaliaх невиданной красы. Огурцы-великаны прилежно плавают в воде. Саблями сверкают селедки с маленькими кроткими глазками, и вот они, разрезанные, свиваются ужом и т. д.

Хотя не со всеми стихами дело так просто. Попробуйте переписать прозой:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Я пробовал. Не получается. Сло́ва не выкинешь и не переставишь, только в строчку перепишешь.

У меня есть память на стихи и стиль поэта. Однажды полистал сборник Твардовского, а на другой день узнал его стихотворение, которое слышал первый раз. И еще был подобный случай. Окружающие думали — знание, а это чутье. Я живу интуицией. Лечу с большой горы и не знаю, то ли в пропасть ухну, то ли мягко приземлюсь.

О классической музыке говорить вообще не приходится.

Единственный, кто мог просветить меня во всех этих вопросах или хотя бы вызвать к ним интерес, — отец. Он проводил со мной много времени, почему же мы не ходили в театр и музеи? Я, кажется, знаю.

Отец всю жизнь любил ходить. Он почти не пользуется транспортом. Для него ходьба — отдых. Все наши с ним встречи — гуляние. Я до сих пор никогда не прихожу к отцу без предварительного звонка. А он мне назначает время, как врач на прием. В положенный же час отправляет меня домой. Отец — педант. Времени зря не теряет. У него каждый день расписан до минуты. Наверно, поэтому с ним я всегда ощущаю какую-то неловкость и беспокойство, будто отрываю его от важных дел, мешаю.

У отца есть один талант: он умеет говорить с детьми, совсем, впрочем, не подделываясь под их возраст. Рассказывает что угодно. Может переделать сложную математическую статью, которую только что разбирал, в интересную сказку. О научных проблемах он сообщает так популярно, что, кажется, козе должно быть понятно. Загадочный ореол, который реял над отцом во времена моего детства, объясняется еще тем, что я не знал ни родственников его, ни друзей. Для меня было специально отведенное время, увлекательно проводимое, для отца оно же — отдых. Мы гуляли, дышали свежим воздухом, а отец рассказывал. Он не слушал, ему не очень-то интересны мои дела, он говорил.

Я еще в детстве знал: мать ждет не дождется вести меня в гости к отцу, а видится с ним всего пару минут. Наверно, это любовь. Когда меня к отцу водила ба-

бушка, а мама оставалась дома — наверно, это была гордость.

Раньше я все это чувствовал, но понимаю только теперь. Я не пытался разобраться в том, что знал, не называл это словами. Может быть, боялся назвать.

Когда я возвращался от отца, мать бросалась ко мне, целовала, прижимала к себе, а я кричал и вырывался. В те минуты не меня она обнимала, а его, с которым я провел полдня. Это было оскорбительно. Она должна была принадлежать только мне. Только меня она имела право любить. Он тоже. Но он никогда не интересовался матерью. Тут я был спокоен.

— Ну, как папа? Как вы погуляли? Что он говорил? Ему понравился твой костюмчик?

Она действительно скучала, пока я был у отца. Она еще больше любила меня. И его любила и мучилась. Она скрытная, очень боялась выдать свое чувство. Кажется, она и бабушке не жаловалась и ничего не рассказывала, хотя ручаться не могу. Бабушка-то наверняка понимала все. Сейчас и я понимаю это по-взрослому. Но тогда у меня в душе родилось что-то гадкое. Ты его любишь? А я с ним гуляю! Ты его хочешь видеть и слышать? А слушаю и вижу его я. Как он выглядит? Да какое твое дело! Это, наверно, самое тайное и стыдное моего детства. Иногда в минуты раздражения это проявлялось во мне и позже.

Мама уже много лет работает на хлебозаводе. Зарплата у нее не слишком большая. Отец официально не платит никаких алиментов, но постоянно отправляет со мной деньги.

Я не помню случая, чтобы он послал маме подарок. Мне тоже ничего не покупал сам. У нас в доме нет вещи, которая бы напоминала о нем. Кстати, я никогда ничего не просил у отца. А в детстве мне очень хотелось иметь тот стеклянный шар со снегопадом. Я у отца даже книги читать не прошу, а у него есть редкие книги. Обойдусь читальным залом. Вот только маме он мог бы хоть раз в год делать ерундовые подарки. На Восьмое марта, например. Что ему стоит?

Знакомым я рассказываю в основном про отца.

— Мой папа математик, — говорю я. — Он месяц провел в Польше, а сейчас в доме отдыха.

Мои мама и отец разошлись. В этом нет ничего стыдного. У многих ребят родители расходятся. Ну и что?

Но я никому не говорю вот о чем: мои-то ведь никогда и не «сходились». Они никогда не были расписаны. Я внебрачный ребенок. Моя мама — мать-одиночка. Вот так-то.

У меня есть мать, есть отец, и что за дело, есть ли у матери в паспорте штампы о браке и разводе. Но дед (отец матери) так меня и не признал. Он сказал: «незаконный» — и точка.

У деда с бабушкой в пригороде свой дом. Очень странный дом. Половина покрашена голубой краской, половина — коричневой. Голубая половина дедова, коричневая — бабушкина. Внутри они не соединялись. Если деду нужно было что-то передать бабушке, он обходил дом с улицы, поднимался на коричневое крыльцо и стучал. Говорили они редко. Дед занимался садом, были у него ульи и куры, и раз в неделю он ездил на рынок. Однажды подарил бабушке вязальную машину. Бабушка так и не научилась ею пользоваться.

Пока я был маленький и матери не с кем было оставить меня, когда она уходила на работу, у нас жила бабушка. Летом мы с ней ездили на дачу, в ее коричневую половину. Мама оставалась в городе. У бабушки была еще одна дочь, Поля, горбунья. Она так и не вышла замуж и жила в голубой половине, с дедом. Тетя Поля, бывая в городе, иногда заходила к маме. Впрочем, редко.

Бабушка говорила: «Незаконных детей нет. Все дети законные, если они родились». Меня эти разговоры тогда не занимали. Еще бабушка говорила: «Несчастливые у нас в роду женщины».

Бабушку одно время я любил даже больше матери. Она прожила с нами до семи моих лет. Потом исчезла. А я как раз впервые тяжело заболел. Потом стал выздоравливать, потихоньку есть. Со мной все время была мама. Она кормила меня вкусными вещами, какие у нас дома водились только по большим праздникам. Я много спал, наверно, сном из меня болезнь выходила. И вот проснулся я однажды, а в комнате мама и соседка. Мама тихо плачет и говорит:

— Как Вовке сказать, что бабушка умерла? Пока он

окончательно не поправится, ни в коем случае нельзя говорить. Не представляю, что с ним будет, когда узнает. Он очень любил бабушку.

Я плотнее закрыл глаза и даже перевернулся на другой бок, сонно посапывая. Я боялся, меня уличат в бодрствовании. Я ничего не чувствовал. Умерла бабушка. Ее зарыли, я больше ее никогда не увижу. Я не выдавил бы из себя и слезинки.

Потом я поправился и не спросил, где бабушка. Боялся: мне расскажут, а я опять не заплачу. И все подумают — какой злой и черствый ребенок.

У бабушки, как и у мамы, были пресветлые глаза и вокруг них пречерный ободочек коротких ресниц. О бабушке я всегда думаю с большой нежностью.

9

Мне трудно представить, что Тонина живет обычной жизнью: присутствует на педсоветах и родительских собраниях, получает зарплату и ходит в магазин, готовит обед. Засыпая, я воображаю, что стою перед ней на одном колене и протягиваю букет гладиолусов. Она, в сиянии, улыбается мне.

Я часто задумываюсь: какой Тонина учитель? Наверно, хороший. В прошлом году Тонина пришла к нам и сразу же удивила.

Наша прежняя учительница литературы вела уроки, слово в слово по учебнику. А Тонина говорит: «То, что в учебнике, я вам повторять не буду. Не маленькие, сами прочтете. Но отвечать мне будете по учебнику. Извольте знать биографию Пушкина и разбираться в датах». И она стала рассказывать, каким в начале девятнадцатого века был наш город, какие строили дома и носили платья, какие книги в то время читали, как относились к писателям и кто был властителем дум. И про царя, и про войну, и про декабристов. И про Пушкина. Про его характер, привычки, родных и друзей.

Это был необычный урок. Слушали мы с открытыми ртами. Самое неожиданное, что после этого с интересом взялись за учебник. А когда Тонина задала самим

выбрать и выучить стихотворение Пушкина и вызвала всего троих, случилась совсем уж странная вещь. Раньше бы только обрадовались: не вызвали, — значит, повезло. Теперь же многие почему-то захотели прочесть выученное стихотворение, и после уроков осталось человек десять. Тонина стояла лицом к окну и слушала. И оттого, что она отвернулась, исчезло ненужное смущение. Обычно у нас стыдятся читать с выражением. Отбарабанил наизусть — и с плеч долой. А тут ребята читали так хорошо, как никогда.

Я сказал, что пришел просто послушать.

В пятницу у нас литература последним уроком, и часто несколько человек остается поговорить с Тониной. Читают ей стихи. Разные, не обязательно из тех, что мы проходим.

Но не всегда у нас такие интересные уроки, как тот, пушкинский. Тонина человек настроения. Иногда как первомайский салют, а бывает и сильно не в духе. Тогда и атмосфера у нас совсем другая, никаких шуток и никакого взаимопонимания. Придет:

— Коваль! Расскажи-ка мне, как ты понимаешь смысл заглавия «Гроза»? — Тон официальный, ничего хорошего не сулит.

Коваль вразвалочку поднимается, напускает на лицо мучительную сосредоточенность, брови ходят — это должно означать работу мысли.

— Он, Островский, в этом произведении показал...

— Что же он, Островский, показал в этом произведении?

Черепанова шепчет:

— Бездушный мир чистогана.

— Бездушный мир чистогана, — повторяет Коваль.

— Хорошо. Черепанова, спасибо. Ну, и что же дальше?

Тонина кажется даже ростом меньше и худее. Постукивает карандашом, в упор смотрит на крышку стола, потом вдруг, почти не поднимая головы, так же в упор на Ковалья. Класс не дышит.

— Почему же ты не можешь ответить на элементарный вопрос? Ты научишься когда-нибудь логически мыслить? Какие отличительные черты трагедии, комедии и драмы?

Класс роется в учебниках. Сейчас никому не поздоровится.

— Комедия — когда смешно... — мучается Коваль, а потом шепчет мне в ухо: — Антонина сегодня с левой ноги встала, а Коваль, видите ли, виноват.

Я пропитан настроением Тонины, как губка. В таких случаях я нервничаю, сижу тихо. Мне жалко ее. К концу урока чувствую усталость и беспричинную грусть. Блуждаю взглядом по окнам, стенам, смотрю на портреты в багетных рамках: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов. Под каждым — табличка с изречением. Всякий раз останавливаюсь на одном: «Тот самый человек пустой, кто весь наполнен сам собой. М. Ю. Лермонтов». Это про меня, безразлично думаю в сотый раз.

Ребята, конечно, любят Тонину и уважают. Но самый любимый учитель и у двоечников, и у отличников — физик. Он старый, добрый, справедливый и с юмором. Я тоже люблю его больше других учителей. Тонина не в счет, что мне до ее учительских качеств. Будь она идеальным педагогом, может, и не была бы для меня тем, чем стала сейчас, — неуловимой, прекрасной мечтой.

Режьте меня на части, не могу вообразить: Тонина чистит картошку, Тонина метет пол, Тонина моет окно...

10

Искусство. Чужая страна со своим языком и законами. А я профан, неотесанный, дремучий, я варвар в ней, без переводчика совсем беспомощен. Мне нужно учиться, готовить задания по математике, химии, физике, немецкому. Капусов говорит:

— Фолкнер — это новая эпоха.

А я «Войну и мир» не читал.

Схватился за Фолкнера. Насильно прочел «Деревушку». «Город» уже не потянул. Библия и Фолкнер одинаково недосыгаемы. Уж больно кряжистые.

Пошел в Эрмитаж. Ходил, ходил, еще больше запутался в своих мыслях и чувствах. И вдруг вижу — скульптура: обнаженная женщина. Живая и естественная, она словно излучает тепло и покой.

После всяческих Матиссов я упал на диванчик и долго просидел перед скульптурой. Это Майоль.

На другой день, будто невзначай, заявляю Капусову:

— Зашел вчера в Эрмитаж. Люблю время от времени около Майоля посидеть.

Капусов скривился:

— Тяжеловесные женские прелести и подавляющая тупость.

В замешательстве я выпалил:

— А по мне, это идеал. Так себе его и представляю.

Конечно, я представлял его иначе. Тонина! Я только о ней и думал. Ради нее я читал Фолкнера и силился постичь страну искусства. Я хотел говорить с ней на одном языке. Любить то, что она любит, что положено любить взрослому образованному человеку. Одним словом, разбираться, что такое хорошо, а что такое плохо. Ведь раз в музее выставлено, это хорошо. Почему же Шишкин и Айвазовский — плохо? Почему Майоль — подавляющая тупость? Я уже не любил ни Шишкина, ни передвижников. Я уже не любил Майоля.

11

Все оказалось куда проще, чем я себе воображал. Все постижимо. Не с парадного хода, так с черного я решил проникнуть в святая святых, страну, куда без посвящения не суйся.

Рецепт прост. Мое собственное открытие. Мое право на патент. Правда, тоже требует времени. Но у меня не было иного выхода. Поверхностность куда лучше, чем незнание. Я, тонущий, всплыл. Стал поплавок. А кто не поплавок? Вы думаете, Капусов не поплавок? Вы верите, что он Библию читал? Дудки. Быть того не может. Он просто набит именами и краткими характеристиками предметов. Он знает общее мнение об этих предметах.

Времени мне не хватало. Я стал внимателен на уроках, пытаюсь схватить материал влет. Это мне помогло, по крайней мере прилежание и поведение мое возросли неимоверно.

После школы летел в районную библиотеку. В читальном зале открытый фонд. Я пошел по полкам, читая все книги по искусству подряд. Это заблуждение продлилось недолго. Существует много книг, справочников, где в кратчайшей, конспективной форме рассказано про все искусство и даже иллюстрации даны. За несколько недель я проработал необходимые книги и даже углубился в некоторые вопросы.

Тогда же я понял, что содержание многих картин и скульптур взято из мифологии и Библии. Из мифов я знал, что был Одиссей, а из Библии — был Христос, его распяли, но он «воскрес и на небо полез». Я тщательно проштудировал «Мифы Древней Греции» и «Мифологический словарь». С Библией еще проще. Есть две книги Лео Таксиля «Занимательная библия» и «Занимательное евангелие», где подробно, в юмористической и доступной форме все пересказано. Также есть масса атеистической литературы, в ней я тоже почерпнул много полезных сведений. Необходимость читать Библию отпала. Кстати, в библиотеке ее нет.

Если бы я знал все это раньше, то был бы избавлен от множества мучений. Мне незачем читать Бальзака, чтобы знать, кто он, когда жил, что и о чем писал. Тем более, в разговорах чаще поминают не то, что он написал, а его жену, и как он здорово хлестал кофе, отчего и умер. Чтобы иметь общее впечатление о литературе, нужно просмотреть учебники и читать воспоминания. Легкое и интересное чтение. Не писателя читать, а о нем.

Свои выводы я оставил при себе. Но то, что я сделал, очень облегчило мне жизнь. Ведь ничего дурного нет, что я постарался все охватить вширь. Как же я могу копать вглубь, когда не вижу горизонта и не знаю, где копать. Я начну копать, а там этой самой глубины и нет. Я же не трактор, чтобы все подряд перепахивать. Я поплавок.

12

У старосты Черепановой большое лицо, выпуклый лоб и губы-дощечки, плоские и бледные. Фигура как топором срублена, а вот руки красивые, подвижные.

У нас ее не очень любят. Она прямой человек, говорит то, что думает, только слова у нее затертые, серые. Черепанова может выйти на середину класса и сказать: «Ребята, контрольную по химии не написали двенадцать человек. Это же просто подло. Для кого вы учитесь? Для себя. Я, например, стараюсь получить побольше крепких знаний, чтобы потом использовать их».

Черепанова — отличница. Если она что-то делает, то обязательно добросовестно. Она не представляет, как можно не выучить урок, всегда все знает, умеет и готова помочь любому. Только за помощью к ней редко обращаются. Спорить с ней трудно. Доказывает она быстро и предельно просто. Я обычно ищу доказательства посложнее, а найдя такое простое, не пользуюсь — элементарное кажется подозрительным. Однако против ее простых и неоригинальных доводов не попрешь.

Черепанова живет правильно, говорит, что думает, и переубедить ее невозможно. Коваль аттестует ее: «идейная Черепанова», я — «правильная Черепанова».

Тонина ни к кому в классе плохо не относится. Но к двоим относится очень хорошо. Ко мне и к Черепановой. К Капусову — нейтрально.

Черепанова пишет классические, крепко сколоченные школьные сочинения, место которым в роно, гор-оно, на всяких конкурсах и олимпиадах. То, что читает, хорошо помнит и знает. Впрочем, она не читает писателей, она их изучает. Выясняет, разбирает и усваивает характеристики всех героев. Отвечает по-книжному, все, что положено.

Я же специализируюсь в основном по свободным темам сочинений, отвечаю своими словами и разбавляю ответ эмоциями: почему понравилось, что понравилось и собственные мысли по поводу.

Конкурентами мы с Черепановой никогда не будем, очень уж разные, а ревность меня все равно точит. Пожалуй, Черепанова в чем-то примитивнее меня, а платформа-то у нее покрепче.

Меня попросили повесить новые шторы в пионерской. Прихожу, а там Черепанова пишет школьное расписание уроков. Я повесил шторы и стал смотреть, как Черепанова управляется с трубочками для туши. Она говорит:

— А я «Войну и мир» прочла.

— И про мир, и про войну? — спрашиваю нарочито небрежно.

— А ты думал? Все подряд и внимательно, потому что я уж больше не вернусь к этой книге.

— Это почему же?

— А я уверена, что больше ничего в ней не почерпну. Теперь за «Анну Каренину» взялась.

— И тоже к ней больше не вернешься?

— Тоже. — Черепанова разговаривает между делом. Она макает трубочку в тушь и проводит линию по специальной линейке.

— А зачем тебе «Анна Каренина»? Ведь мы ее не проходим.

— Я все собрание сочинений Толстого хочу прочесть. За лето собрание сочинений Тургенева прочла. А в прошлом году собрание Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

— Усвоила? — язвительно спросил я.

Но она язвительности не заметила.

— А ты как думал?

— Ну, а зарубежных писателей читаешь?

— Почти нет. Прочла собрание сочинений Диккенса.

— Ну, молодец! А тома по порядку читаешь? — издевался я.

— А как же, по порядку, лучше в голове укладываются.

Я не мог прийти в себя. Учишься с человеком девять лет, думаешь, все о нем знаешь, а не тут-то было.

— Не собираешься поступать в гуманитарный? — спрашиваю я.

— Нет, я в оптико-механический.

— Почему именно в оптико-механический? Тебя что, оптика интересует?

— При чем тут оптика? Просто я хочу поступить в технический вуз. Непонятно?

Ей надоели мои приставания, а я прицепился, потому что меня в самом деле волновал разговор.

— Их ведь много, технических. Почему в оптико-механический обязательно?

— Потому что оптико-механический моя сестра кончала.

— А где теперь сестра, что делает? — Я торопливо и настойчиво допрашивал Черепанову, а она словно и не понимала вопросов.

— Как — что делает? Инженером работает.

— А какие у нее обязанности?

Черепанова аккуратно положила трубочку на промокашку и посмотрела на меня, как на идиота.

— Инженерские, разумеется. Ты дурак или только прикидываешься?

— Дурак, а что? — Я потерял и к разговору и к Черепановой интерес. — А ты как, вообще-то времени зря не теряешь? Бережешь время?

— Стараюсь беречь, — сказала Черепанова. — Мотай отсюда.

— Время ты, может быть, и бережешь, но в жизни, наверно, много теряешь. У тебя ведь на размышления ни минутки не остается, а?

Лицо у Черепановой стало обиженным и детски простодушным.

— Володя, ну чего ты привязался? Чего тебе нужно?

— Умрешь с тобой от смеха, — сказал я презрительно и пошел к двери. — Кишочки надорвешь.

Неужели Тонина не может раскусить Черепанову? Неужели она не видит, что я лучше Черепановой и больше достоин хорошего отношения? Вот заболел на полгода, и пускай общается с Черепановой, Надькой Савиной, Ковалем. Пускай общается на здоровье.

13

Язык мой — враг мой. Знаю, что про Тонину нельзя говорить, особенно с Капусовым, и все время стараюсь навести его на разговор о ней.

Тонина пришла в новом платье, веселая. Во время каникул я думал о ней ежедневно, ежечасно, но во сне видел ее довольно редко. Я устал от нее. Я хотел ее забыть и думал о ней. Надеялся: пока ты не забываешь, силой твоих мыслей тоже не забыт. Ведь существуют же какие-то ниточки духовной связи.

Первую часть урока я тщательно делал вид, что не

слушаю Тонину, трепался с Ковалем. Потом взял газету и уткнулся в нее, будто читаю. Любой другой давно бы выгнал меня из класса. А Тонина лишь выразительно посмотрела и сказала совсем не сердито:

— Володя, сейчас же перестань мне мешать.

— Сейчас перестану.

Сам остался доволен своим ответом, изобразил нарочитую внимательность и даже ручки сложил. Только успокоиться я уже не мог. Начал подавать реплики. Все вокруг смеялись. Я был в ударе. Смеялась и она и смехом совсем особенным, покровительственным и чуть торжествующим, словно поощряла необыкновенного ребенка. «Ну, что вы скажете? Я же вам говорила... Ну, как он вам нравится?..» Меня это не только не обижало, но придавало уверенности.

К концу урока она достала пачку наших сочинений. Моей тетради в стопке не было. Я не написал сочинение и не сдал. Тема сочинения: «Мой идеал». Перед самым звонком Тонина сказала:

— А ты, Володя, после уроков зайди в учительскую.

Я зашел. Она говорила со своей дочкой по телефону. Дочери пять лет. Зовут ее Юлька. Мне бы хотелось на нее посмотреть.

Тонина манит меня рукой.

— Почему ты не сдал сочинение?

Я пожимаю плечами. Мне разрешается покапризничать.

— Я такого сочинения писать не буду.

— Почему же? — Говорит она мягко, даже ласково. — Напиши, о чем ты мечтаешь, каким хочешь стать, какие черты тебе нравятся в других.

Я молчу.

— Напиши о тех, кого ты любишь. Ведь ты любишь их за что-то.

— Это ужасно — любить за что-то. Я люблю просто так, ни за что. — Кажется, я излишне горячусь, но уже не могу остановиться. — Кто же по-честному напишет такое сочинение? Никто ведь наизнанку себя выворачивать не станет. А общие слова я писать не буду. Общие слова пускай Черепанова пишет. Она корифей по общим словам.

— Ну ладно, — говорит Тонина. — А о чем бы ты





хотел написать? Ты ведь любишь живопись? Напиши об этом.

Как все просто. Двоек мне не ставят.

К нам подходит завуч и елеинным голосом говорит:

— Ну, как ваш любимый ученик?

— Мой любимый ученик отказывается писать общие слова, а я ему за это не хочу ставить двойку. Пускай напишет о чем-нибудь своем. А у него есть о чем написать. Он у нас большой специалист в живописи.

Я и раньше замечал в ее голосе, поступках, разговорах желание сделать меня в глазах других лучше, чем я есть, защитить меня, нелепого в своей любви. И я вдруг понял: вместе со мной она что-то свое защищает. А может, она знает о моей любви к ней и со мной в сговоре? Она старается со мной вместе скрыть это от чужих глаз. А может, я навыдумал себе все это?

Из школы мы выходим вместе. Я неудачно пытаюсь открыть перед ней двери. Я весь какой-то неловкий, не знаю, куда деть руки, ноги, и шея задеревенела.

Больше всего я обеспокоен тем, что она думает обо мне. Она так мало меня знает. Как она может судить, что я за человек, а значит, и любить меня? И я все время стараюсь сообщить ей побольше о себе.

Мне кажется, она меня для своего удобства создала, какого хотела: способный ученик, немного нахал, избалован вниманием взрослых, имеет свои довольно завиральные мнения и идеи, впрочем, как и положено в его возрасте. Мне это даже льстит, и я старательно играю свою роль, чтобы не разочаровать Тонину и не поставить в тупик.

У людей есть способность наделять других своими качествами и не видеть им не присущих. И я такой же, я ведь тоже вижу Тонину такой, как мне хочется, как мне ближе и понятнее.

Так каким нужно быть — для каждого другим или для всех самим собой?

Я окончательно запутался.

Теперь иду рядом с ней и мучительно думаю, как бы упомянуть, что на каникулах я прочел «Деревушку» Фолкнера.

— У вас бывает, что вы забываете сюжеты книг? — спрашиваю наконец.— Год назад прочел Фолкнера и забыл начисто.

И ведь это правда. Забыл, в чем там дело.

— Ты, наверно, очень много читаешь,— говорит она,— но это тоже неплохо. У тебя идет процесс накопления. А отбирать будешь позже. Сюжета ты не помнишь, но ты вынес мысль, ощущение, аромат книги, правда?

— А интересно, почему люди читают книги, волнуются, переживают? Для чего вы читаете?

На минуту мне показалось, что она скажет, как отец когда-то: «Не задавай глупых вопросов». Но она ответила:

— Книги дают мне возможность быть там и с теми, с кем я не могу быть в действительности.

А я не могу быть в действительности с ней, и книги мне не помогут. Я и читаю, чтобы там, в книгах, найти подтверждение своим переживаниям.

— Ты сейчас читай «Войну и мир», заранее, чтобы к тому времени, как мы подойдем к Толстому, у тебя было все прочитано. Потом «Преступление и наказание». Читай русскую классику.

— А я еду на несколько дней в Новгород,— неожиданно говорю я.— Маленькое путешествие.

— Один? — удивилась она.

— А с кем же? Конечно, один.

— Ну что ж, счастливо. Расскажешь потом, как путешествовал.

Подошел ее автобус. Она уехала.

Оказывается, на улице теплынь. Я увидел все вокруг. Кирпичный дом, деревья в зарешеченных лунках на асфальте.

Я положил руку на ствол. Деревья живые, тепла и эластична кора, шелковисты листья, пористая древесина дышит.

Я шел домой и наслаждался зрением. С ней я слепну. Тысячу раз перебирал наш с ней разговор. Путешествие. Вот ведь вылетело. Теперь придется ехать обязательно и срочно.

Я давно задумал путешествие. И деньги есть — тридцать рублей, отложенные на зимние ботинки. Да-

леко не уедешь. В Таллин нельзя: Капусов подумает — обезьянничая. По дороге домой зашел в библиотеку — взять путеводитель.

Мама, конечно, не захочет меня отпустить.

14

Двадцать пятое сентября.

Провожающие стояли по ту сторону автобуса и напряженно смотрели в лица отъезжающим через тусклые, в подтеках стекла. И хотя лично меня никто не провожал, я устал от этих гипнотических взглядов. Наконец тронулись, провожающие поплыли назад, а пассажиры облегченно откинулись на спинки сидений.

Все-таки странное это чувство — уезжать. Завтра все здесь будет по-прежнему. Те же улицы, дома, люди. Знакомые пойдут в школу и на работу. А у тебя все станет другим, новым и интересным.

У меня в портфеле подробный путеводитель. Я ехал осматривать достопримечательности и дышать воздухом путешествия.

За городом потянулись поля и леса. В селах подбирали пассажиров. Свободных мест не было. Какая-то бабка сидела прямо передо мной, на ступеньках у двери, подстелив голубую трикотажную майку. Каждый раз, когда нужно было впустить людей, она поднималась, забирала свою майку, потом стелила ее и опять садилась. У нее было коричневое заплывшее лицо и чистые глаза, как два озерца. Каждый раз, когда она, кряхтя, вставала, мне было стыдно. Вообще-то полагалось уступить ей место, но место у меня было нумерованное. Я мучился и продолжал сидеть. А она снова вставала и снова опускалась на ступеньки. Я имел право на свое место, я заплатил за него и должен был ехать пять часов, а бабка вышла через час. С другой стороны, я отравил себе жизнь.

Впереди все застило тучей. От этой синей тучи до горизонта протянулись тонкие, почти пунктирные линии, какие бывают на гравюрах, когда японцы изображают дождь. Где-то впереди, наверно в Новгороде, лило.

Туча шлепнулась за горизонт, слилась с асфальтом, и в природе осталось два цвета: серый — неба и дороги и серо-розовый — полей по сторонам. Потом пошли серо-розовые деревни, и вдруг впереди все распахнулось и вылился, искрясь, поток золота. Золото солнца и золото куполов. Кремль. Мы въехали в Новгород.

Честно говоря, я уже не знал, зачем приехал. В самом деле, сорвался, школу прогулял, не ради же достопримечательностей и возможности потом обмолвиться Тонине в двух словах — ездил, мол, видел памятники архитектуры, нюхал.

В гостинице для транзитных места были. Комендантша, не глядя на меня, сказала:

— Паспорт.

Я опешил. У меня даже комсомольского с собой не было. Я его дома храню.

Она посмотрела из-за своей перегородки и сразу все поняла.

— Где твои родители?

— Мама в Ленинграде.

— А что ты здесь делаешь один?

Я сразу понял, что про путешествие нельзя говорить ни слова. Будто кто подтолкнул меня, научил.

— К папе приехал.

— Ну и отправляйся к папе.

— Мне туда нельзя. У него новая жена. И мама не знает, что я здесь. Она думает, я к товарищу на дачу поехал, на воскресенье.

Комендантша заинтересовалась, даже взволновалась. Я попал в точку.

— А давно они разошлись? — сочувственно спросила она.

— Год уже.

— Ах ты бедолага! Как же ты повидаешься с ним?

— Я его подкараулю, я дежурить у дома буду.

— А ты прямо к нему иди. Не съест же тебя его жена?

— Нет, не могу.

— Ну селись. Тебе одну ночь? Две? Давай два рубля. И чтобы все было в порядке. Завтра утром сама проверю.

Я посмотрел, где моя койка, и пошел в город.

Солнце, приветливо встретившее меня, пропало. День снова серый, и дождит.

Без всякого энтузиазма завернул в кремль и попал в картинную галерею.

Смеркалось, а в залах света еще не зажгли. Там было и так светло — от картин. Хорошо все-таки: за окном дождь, а перед тобой радужный мир красок. Я влюбился в одну картину и не отходил от нее. Ромашки и маки в траве, а трава так сочна, что кажется — испачкает зеленую одежду. Я сел перед картиной на диванчик и сидел. Будто бы сидел. На самом же деле упал навзничь в эту траву, цветы и кричал: «Тонина! Тони-на!!»

Вот и дождь перестал. Я пошел в Софийский собор.

Что-то там реставрировали. Посреди собора выстроились леса. Я поднялся на хоры и открыл путеводитель. По стенам огромные фигуры святых. У них песочно-серые, будто из пакли, волосы.

Анфилада бывшей церковной библиотеки. Побродил, поглазел — ничего интересного. Шаркающая старуха смотрительница кого-то позвала. Сам не знаю зачем, я спрятался за колонну. Потом все утихло. Я снова вышел на хоры и принялся рассматривать росписи. Длинные ниспадающие одежды. Мученические укоризненные глаза. Кукольные волосы. Святая Наталья, святая Агриппина, святая Александра...

На хорах никого. Походил, опять заглянул в библиотеку — никого. Пробежал анфиладу до конца — пустые беленые стены. Обратно по половику, который впитывает звук шагов. Никого. Хромая смотрительница исчезла. Кругом ни души.

Еще раз на хоры. У дверей пустой холодный стул. Вниз, по каменной лестнице. Железная запертая дверь. Наверно, не та дверь.

Еще ниже. Железная запертая дверь с табличкой «Реставрационные мастерские». Дальше хода нет.

Выше. Железная запертая дверь. Наверно, не та лестница.

Наверх. Темная лестница никогда не кончится. Прочесал пустые хоры, библиотеку, и ковер снова съел шаги. Вот еще одна лестница. Кажется, по этой я сюда и поднимался.

С надеждой бегу вниз. Решетка. Подергал замок — и обратно. Сверху виднее, что делается кругом.

Совсем затравленный, походил по хорам.

— Кто-нибудь есть?

Молчание.

— Есть здесь кто-нибудь?

Голос начинает предательски дрожать. Откровенно кричать стесняюсь.

— Эй?!

Сажусь на стул у стены. Холодно. Сверху смотрит бог, Спаситель. Меня он не спасает. Закрыв дверь в библиотеку, а то кажется, оттуда высунется какая-нибудь жуткая покойницкая рука и схватит. Снова, не вставая, подал голос:

— Эй, выпустите меня!..

Ни звука в ответ. Как в могиле. Тогда стал кричать через каждые три минуты. До ряби всматриваясь в циферблат, ждал, пока стрелка подвинется на три миллиметровых деления.

— Эй!.. — Еще три минуты. — Эй, люди!.. — Еще три минуты. — Товарищи!..

Помчался вниз по серой лестнице, стукнулся о стенку, побежал дальше. Потряс и погремел замком на решетке. Никого. Бросился наверх.

Вперед-назад по анфиладе. Нет никого. Сел на стул. Стемнело.

— Помогите!..

Я перестал кричать и сидел тихо. Внизу что-то лязгнуло.

— Послушайте! Стойте!!

Подбежал к барьеру и свесился вниз:

— Где вы? Я вас слышал!

Выполз какой-то человек и задрал голову в растерянности:

— Кто здесь?

— Я.

— Чего кричишь? Спускайся!

— Спускался. Закрыто там.

— Сейчас открою.

Иду вниз, стукнулся о стенку, ползу дальше. Мне открыли, выпустили, и сразу стало скучно. А ведь десять минут назад только что не рыдал от ужаса.

Сел на скамейку. Рядом приземлилась крупная женщина. Лицо с широкими скулами, загорелое, пушистое, грубоватое. Ее ребенок возился за скамейкой, а она на него и внимания не обращала. Сидела долго, положив руки между колен, уставившись в одну точку. О чем она думала? Опять пошел дождь. Мелкий и нудный. Было семь вечера. Я отправился прямо в гостиницу.

В комнате стояло шесть застеленных кроватей, зеркальный шкаф, а над ним картина. Разделся и лег.

Надо мной парил терракотовый потолок, в центре лучилось лепное гипсовое солнце с застывшей улыбкой и мешочками под глазами. По четырем углам, вокруг четырех плафонов летали гипсовые ласточки. Я старался заснуть. За окнами отъезжали и подъезжали автобусы, кричали поезда, слышался плач и голоса. Гипсовое солнце с высочайшего терракотового потолка не грело. Ох и тошно же мне было! Я себя чувствовал несчастным, никчемным, затерявшимся во Вселенной.

15

Утром, когда я проснулся, вчерашнее настроение рассеялось. Койки опять были пусты, но на двух белье смято — ночевали. В окно врывается свежий, сырой, пахнущий листвой воздух. Я выглянул. Деревья глянцевые, тротуары еще не просохли. Люблю такую погоду. Видно, дождь не пойдет, солнце вряд ли появится, а свежесть и прохлада надолго сохранятся.

Я повалился в постели, изучая путеводитель. Идти куда не хотелось. Выгнал голод. Вчера я не съел ничего, кроме нескольких пирожков.

Новгород вполне оправдывает свое название. Это новый город, построенный после войны. Среди современных домов-коробок утонули церковки, только купола там и здесь торчат из-за крыш, как грибы. Никакого вида. Зато с набережной иное дело. Простор и мощь. С одной стороны златоглавый кремль, с другой — городок «торга».

На кремль смотреть не было сил. Пошел на торговую сторону, твердо зная: эту ночь я проведу в поезде.

На базарчике купил лепешки со сметаной и тут же

уничтожил. Вернулся к той же бабке и еще купил и опять съел. Унес с базара полкило яблок, а они донельзя кислые, слюна струйками выделяется и покалывает за ушами.

Я никуда не торопился. Забрел на тишайшую улочку, всю в яблоневох садах, и уселся на лавку под чьим-то забором. Вылезло солнышко и пригревало мягко, застенчиво. В березовой листве много ярких желтых прядей. На этой части города не было никакого музейного налета, хоть откуда-то из-за садов и выглядывали замшевые куполки. Облака над ними повисли и не двигались. Мимо шел черный кот, истощавший и плоский. Казалось, он шатается от ветерка, как фанерный.

Здесь, где мне было по-настоящему хорошо впервые за полтора дня, Тонины со мной не было. Я даже не помнил ее лица, что, впрочем, случалось со мной постоянно. Я знал, какая она, я мог бы ее нарисовать, если бы умел, но я не видел ее так ясно, как мать, отца, Надьку Савину. Я сидел возле чьей-то калитки, и кажется мне, был такой, какой я есть на самом деле, — естественный.

Потом пошел на те блекло-зеленые замшевые куполки, которые видел со своей лавочки, и оказался на асфальтированных улицах с городскими каменными домами.

И церковь увидел. Смотрительница как раз открыла дверь и впускала парня и девушку. Тогда и я вошел за ними в холод, в сухой запах кирпича и гулкую тишину. С хоров до купола протянулась деревянная лестница, тонкая, казалось, колышащаяся от колебаний воздуха. Она вздрагивала, вытягивалась в стружку и снова расслаблялась. Парень и девушка полезли на хоры, а я за ними. Смотрительница осталась внизу. Она стояла почти в центре и смотрела себе под ноги.

На хорах я разглядел пару. Они были очень молодые и с обручальными кольцами.

Они поползли дальше по деревянной, в занозах лестнице, к купольному барабану, и я опять за ними. Внизу все всколыхнулось в неровном темно-сером освещении. Струились каменные стены. Лесенка тряслась, как в лихорадке.

Девушка, впереди меня, шла почти на четвереньках и постоянно останавливалась. Тогда останавливался и парень и я, само собой. Мы ждали, пока успокоится лестница.

— Тебе, мальчик, нужно было подождать, пока мы поднимемся, — сказал парень. — Большая нагрузка для лестницы.

— Ничего, — я неудачно попробовал пошутить, — вместе и грохнуться приятней.

— Ничего, ничего, втроем как-то веселее, — сказала девушка, и я исполнился к ней благодарности и преданности.

Я ее очень жалел. Никогда не видел, чтобы у человека так тряслись ноги. Они даже не тряслись, а вибрировали.

— Не бойтесь, — ободряюще сказал я, — держитесь крепче, я вас сзади страхую. Все будет в порядке.

И вот уже парень затопал по дощатому настилу, перекрывшему барабан, втащил девушку, а она, жалко улыбаясь, протянула руку мне. Глаза у нее огромные, в пол-лица. Девушка-стрекоза. Руки влажные от страха.

В барабане, по кругу, в рост блеклые, как в дымке, кирпичные фигуры. Походили вокруг. Я придумывал, что бы сказать. Ведь мы втроем ползли к куполу, опасности подвергались, это нас должно было сблизить. Мы теперь вроде сообщники.

Под нами, в центре, — дыра, огражденная двумя перильцами. Из дыры свисает шаткая, уходящая далеко вниз, до хоров, струнка, паутинка, лесенка, по которой мы поднялись. Купол забит досками.

Парень нашел деревяшку, положил на перильца и полез, чтобы заглянуть в купол. Там тоже фрески. Мы с девушкой-стрекозой держим его за ноги.

— Ну, что там? — спрашивает она.

— Не разгляжу... — А через некоторое время: — Богоматерь! И какая! Клянусь, это достойно кисти Феофана.

Он прыгает в барабан. Под ним обламывается и падает перильце. Девушка лезть отказывается. Я лезу.

Перила опять поставлены. Над пропастью деревяшка. Они держат мои ноги. Заглядываю между досок.



Изо всех сил стараюсь что-то увидеть. Левая нога сползает. Предупреждаю, чтобы держали лучше.

— Держим. Ну, как роспись?

В куполе темно. С трудом угадываю светло-кирпичные очертания. Мне кажется, это серафимы — головки с крылышками.

— Прыгай сюда, — говорит парень.

Заставляю себя оторвать руки от купольных досок и с грохотом падаю в барабан. Перильце срывается и летит в дыру. Мы возбуждены и разговорчивы.

— Ну, как богоматерь?

— Приличная.

— Я же говорил.

Спускаемся. Он впереди, девушка за ним, я замыкаю. Внизу лежат перила, как буква «г». Смотрительница, молодая, черная, ест бутерброд и строго спрашивает:

— Вы что это хулиганите?

Мы еще больше развеселились.

— Разве мы похожи на хулиганов? — говорит парень. — Скорее уж мы похожи на благородных разбойников.

Смотрительница идет к двери и ворчит с полным ртом. Мы — цепочкой за ней. Девушка-стрекоза стучит о камень каблучками.

Открывается дверь, и вместе с лязганьем замка появляется ослепительный прямоугольник, в основании которого под лучами солнца блестит трава.

Гремит замок, смотрительница удаляется, и парочка уходит. Я обалдел на минуту. Уже и забыл, что мы не вместе. Втроем лезли, рисковали, прикасались к прекрасному, и вот нá тебе, они уходят, даже не попрощавшись.

Я сажусь у стены церкви и смотрю им вслед. И вдруг девушка-стрекоза оглядывается и машет мне. На пальце сверкает обручальное кольцо.

Я достаю из портфеля яблоко и путеводитель.

Разве плохо, когда человек совершенно свободен, когда ему некуда спешить и вместе с тем он может пойти куда ему заблагорассудится?

Я листал путеводитель с картинками и искал ту церковь, где только что был. Я хотел выяснить, что за

роспись была в куполе. Оказалось, что это никакой не Феофан Грек, а только школа его.

Мне плохо одному. Не могу один наслаждаться приключениями и Прекрасным. Я хочу, чтобы кто-то со мной вместе все это видел и переживал и было бы с кем вспомнить, чтобы это не осталось во мне, не погязло в каждодневности, не умерло. Хорошо бы, рядом сидел сейчас... не Капусов, не Тонина, не отец. Славик бы сидел. Мы бы с ним еще куда-нибудь залезли. А потом я бы спросил его: «А помнишь?..»

В Новгороде я был ужасно одинок, а хуже этого не бывает.

16

Вечером я уехал. В поезде еще раз прочел путеводитель, а потом рассказывал Капусову, как насыщенно провел время, как меня чуть не заперли на ночь в Софии и как все было здорово. Надеялся, что он упомянет о путешествии Тонине. Я был очень рад, что вернулся. Уезжать следует хотя бы ради того, чтобы возвращаться.

У меня было такое отличное настроение, что я ласково и покровительственно поговорил на перемене с Надей Савиной. Мы даже из школы возвращались вместе. Я ей рассказывал про свои приключения, и все выходило радостно и замечательно. Надя слушала не дыша и не знала — не для нее я разглагольствую. Иду себе и представляю, что Тонина рядом.

Надя, конечно, влюблена в меня. Но сегодня это почему-то не тяготило, может быть, потому, что я такой веселый и довольный. Сегодня я даже немного благодарен Наде за то, что она идет со мной, разув глаза и уши, как верный пес, с готовностью идти вот так хоть на край света.

И еще открытие. У Нади ярко-синие глаза. Прямо как васильки. Она постирала форменное платье и пришла сегодня в свитере. Свитер — синий. Встала к окну, солнце бьет, тут я впервые заметил — глаза у нее синющие. Синий свитер, синий взгляд. Смешно краснеет. Она застенчивая, а отвечает у доски громко, четко вы-

говаривая слова, будто смелости ищет в своем голосе, а сама боится сказать что-нибудь не так. Меня все это немного трогает, но я чувствую превосходство — ведь влюблена-то она — и веду себя свободно и немного небрежно.

17

Тридцатое сентября.

Несколько дней назад я сделал гениальное открытие. Теперь стены в нашей комнате увешаны «керамическими» плитками разной величины, очень красивыми по цвету. На них новгородские церкви.

Делается так. Берется дощечка и на ней из замазки вылепливается рельефная картина. Покрывается зубной пастой (иначе не ляжет акварель), раскрашивается. Теперь пройти по всему этому мебельным лаком, и дощечка готова. Акварель под лаком немножко плывет, и получаются подтеки, красочные наплывы — с виду настоящая керамика.

У меня открылся прямо-таки талант к лепке. Уже перелепил половину картинок из путеводителя. Мама восторгается, правда с некоторым недоверием. У нее совершенно не развит вкус. Она не чувствует дыхания современности. Поэтому на стенах у нас и висит газетница с вышитыми болгарским крестом ирисами и какая-то пошлая ширпотребная картина — изображение под китайскую акварель, рамка под бамбук. Розы, птицы и иероглифы.

Сегодня опять шел с Надей домой из школы. Она говорит:

— А у меня именины.

— Почему ты так думаешь?

— Я не думаю, я знаю. Вера, Надежда, Любовь и Софья. Тридцатое сентября.

— Хитро придумано. День рождения тебе и именины. А когда у меня именины?

— Вот этого я не знаю. Спрошу у бабушки.

И вдруг я раздобрился:

— Идем, я тебе подарок подарю, раз у тебя именины.

Повел ее домой. Перед Надькой мне ничуть не стыдно нашей газетницы, покрывала и горы подушек с кружевной накидкой. Тем более, Капусову она про газетницу и подушки не расскажет. Надька же влюблена, а любовь скрытна, это уж я знаю точно.

Привел я ее и поставил перед моими изделиями из замазки.

— Выбирай.

Сел за круглый стол, закурил, чтобы произвести на нее впечатление, и наслаждался ее растерянностью. Она тоже села за стол, так, чтобы видеть пластины.

— Замечательно! — будто выдохнула. Сидела тихая, красная как рак, сложив на столе свои крупные, в цыпках руки, круглые, с круглыми же ногтями.

— Я тебе кофе сварю, раз уж у тебя именины. А ты выбирай, не стесняйся. Сам делал.

Я вернулся. Она продолжала сидеть так же, как я ее оставил, с зачарованным синим взором.

— Неужели ты сам все это сделал? Из чего?

— Секрет фирмы. Только оно не совсем твердое. На стенку можно вешать, а ногтем ковырять нельзя.

Налил ей кофе.

— Ты сам выбери, — попросила Надя.

Я снял ей Софийский собор.

— Здесь, — показал, — я чуть не переночевал.

Она будто в лотерею выиграла. Как же это просто — сделать ее счастливой.

— Славно у вас, — сказала она.

— Не очень. — Я вздохнул. — Если бы у меня была своя комната, я стены обшил бы тростником, повесил бы фонарь и клетки с птицами.

Придумал я про комнату с ходом, но, кажется, ей моя идея очень понравилась. Ей все нравится, что касается меня. Если бы она не была в меня влюблена, с ней, наверно, можно было бы дружить. В сущности, она неплохая девчонка, искренняя, даже слишком. Нужно быть хитрее, многое нужно уметь скрывать.

Я помог ей донести до дому «керамику», чтобы не помялась. Подарить бы Тонине что-нибудь такое, чтобы хоть не осчастливить, а доставить минутное удовольствие. Я бы месяц лепил.

Мама уехала в однодневный дом отдыха в Семи-речье.

Я по ней скучаю. Не привык без нее. Пересмотрел свои книги, побродил по квартире, поговорил по телефону со Славиком и Капусовым и пошел в кино.

Кино — хитрая штука. Мы вживаемся в него. Выходим после сеанса на вольный воздух со своим мало-подвижным, невыразительным лицом и ощущаем себя героем картины. Я иду по улице и несу на своем лице маску Жана Габена. Губы мои растягиваются в его улыбку, глаза светят его блеском. Люди, наверно, видят мои сомнамбулические движения и рожу: то улыбка ее искривит, то смехотворное презрение нарисует. И никто не подозревает, не видит во мне сейчас истинного. Всегдашнее столкновение воображения с действительностью. Дядька с лысиной на меня уставился.

Мама приедет завтра утром, я ложусь на ее кровать.

Вижу в окне — тонкий мусульманский ломтик луны лежит кверху рожками.

Меня кто-то обнимает. Я, сонный, тоже обнимаю и нюхаю. Пахнет свежестью и чем-то домашним, только моей матери присущим. В окне солнце. Мама сама очень рада возвращению домой. Не любит никуда уезжать.

— Семиречье, — говорит, — утопия, коммунизм. Встречаю женщину шестидесяти лет, а выглядит на двадцать пять. Рассказывает, всю жизнь в Ленинграде прожила, а в Семиречье нашла свое счастье. Там — как при коммунизме. Свежий воздух и никаких очередей. Встречаю мужчину сорока лет — выглядит на двадцать...

Я приподнимаюсь на постели:

— Мама, что за ерунду ты городишь!

— А что такое? — Она смущена. — Я рассказываю, что видела своими глазами.

— Но это же невозможно! Кто послушает, скажет, с ума сошла, честное слово!

Мама поворачивается и уходит. Она очень быстро обижается, но сейчас же забывает, что обиделась или

рассердилась. Если бы она была позлопамятней, я не обижал бы ее так часто.

Она копается в кухне. Наконец тихо оповещает:

— Завтрак готов.

Я не встаю.

Мать возится в ванне, потом хлопает входная дверь. У меня болит голова. Плетусь на кухню. На сковородке остывшая яичница, на блюде — два пирожных. Две пустые чашки, две вилки.

Я бегу по лестнице, через двор, под арку, на бывшее футбольное поле. Здесь, среди белых пушистых головок кашки, на опрокинутом тазу сидит мама — белье стережет. Она встает мне навстречу, выжидательно смотрит, и глаза у нее на мокром месте. Обнимаю маму. Хорошо, что она не видит моего лица, я телепатирую ей: «Не сердись на меня, дурака, я же тебя люблю, ты же у меня одна, и я у тебя один, не сердись на меня, родная». Вслух сказать что-нибудь подобное у меня язык не повернется. Особенно «родная». А про себя я повторяю это много раз, и мне кажется, мама принимает мои «сигналы».

Я стаскиваю мокрое белье в таз — в кухне высохнет, и мы, так и не сказав друг другу ни слова, идем домой. Я несу таз. Я ведь так скучал вчера по ней, только сказать ей об этом не умею и не могу, что-то внутри противится.

19

Приближается день рождения отца. Мать начинает за месяц думать о подарке. Подарок будет, разумеется, от меня.

— Может, рубашку? — советуется она.

— Полно у него этих рубашек.

— А запонки красивые? Мы можем рублей тридцать на подарок выделить.

— Посмотри на себя! — начинаю кричать, трясясь от злости. Она сидит в зеленом стираном-перестиранном платье, у ворота какие-то бусинки пришиты. Поверх вишневая кофта, на локте дырка расползается уже неделю. — На себя посмотри! Тебе только сорок лет.

На кого ты похожа?! Почему у Капусова мать всегда завитая, в красивом платье?

Мать склоняется над столом все ниже и ниже и молчит. Потом, будто я и не орал:

— Да, так что же ему подарить?

Так проходят наши с ней вечера.

Мать моя, наверно, не очень красивая. Я рассматриваю материны девические фотографии. И тогда она красавицей не была. Какое-то очарование молодости есть. Тоненькая. Даже удивительно, что это моя мать. Лицо испуганное, беззащитное. Глаза очень светлые, с очень черным ободочком недлинных ресниц. Таких нельзя обманывать. И как отец не понял этого?

Теперь расплылась, расползлась, живот распустила. А спина у нее стройная, и походка сохранилась красивая. Посмотреть сзади — девушка идет. И глаза девчьи, как на старых фотографиях. А морщин много и уже полуседая. Чистюля она, все у нее перестирано, поглажено, но уж как оденется — смотреть противно. Говорит: «Сынок, пойдем со мной в магазин». А мне стыдно: вдруг Капусова встретим, вдруг Тонину. Я сразу начинаю орать: «Мне некогда!» Идет одна. У меня сердце кровью обливается. Бегаю по квартире, жду, когда вернется, хватаюсь мыть посуду, подметать. Не знаю, как и загладить свое свинство.

Возвращается. Она уже и забыла, что я нахамил. Бросаюсь к ней, забираю сумки. Подлизываюсь полдня. Жалко мне ее до невероятности. Что же это отец натворил?

Мечусь все время между ужасным раздражением и жалостью. На днях разозлился, не помню уже почему, и ору:

— Выходи замуж!

Она даже присела. Смотрит, смотрит, вот-вот заплачет. А она засмеялась.

— Почему бы тебе не выйти замуж? — начинаю ее уговаривать. — Раньше нужно было об этом подумать. А теперь уж и совсем пора. Я взрослый, вырос уже. А?

— За кого же мне замуж выйти?

— Какие-нибудь знакомые мужчины у тебя есть? — спрашиваю в замешательстве.



Она рукой машет:

— Какие уж там мужчины... Да и поздно мне теперь.

— Ну что ты, — успокаиваю, — люди и в семьдесят лет женятся. Совсем тебе не поздно.

— Мне не по возрасту поздно. Я уже просто не смогу жить с чужим человеком. Мне даже странно подумать — жить с чужим мужчиной. Видишь... тут... большая разница...

Она путается в словах. Сейчас наверняка заплачет. Какие все-таки мужчины свиньи! Если бы я был взрослым и не сыном моей матери, я бы на ней женился. А если бы мне предстоял выбор — жениться на Тонине или на матери?.. Я бы, подлец, все-таки выбрал Тонину. Не было бы Тонины, тогда обязательно на матери. Хотя тогда ведь мать была бы мне чужой и мне было бы ее не жалко. Я бы на ней никогда не женился. Бедная моя мама! Единственная женщина, единственный человек, за которого я по-настоящему болею душой.

Мне кажется, за одного мужчину моя мать все же вышла бы замуж. За моего отца.

20

Седьмое декабря.

День рождения отца.

Я сказал матери твердо и бесповоротно, что в этом году сделаю отцу самодельный подарок. Все необходимое у него есть. Ему ничем не угодишь. Я решил подарить «керамическую» пластину.

Сначала хотел слепить богоматерь с младенцем. Младенец меня не интересовал. А вот богоматерь должна была быть похожа лицом на маму. Но сколько ни мучился, лепил с натуры и с фотографии, ничего не получилось. Тогда я взял длинную доску и решил вылепить по памяти дома, какие видел по дороге в Новгород. Покривевшие от времени, окна высоко, по три в ряд. У домов этих какое-то человеческое выражение, трогательно-доверчивое. Дома как лица. Я сделал их темными, а общий колорит зеленым, размытым. Хо-

рошая получилась пластина. С настроением, грустная.

Позвонил отцу, поздравил. Он говорит, приходи в субботу, в семь, буду ждать, отметим.

Хорошее дело! День рождения он будет с кем-то справлять, а со мной в субботу отметит. Хотя я ведь тоже свой день рождения с мамой справлю, а с ним в какую-нибудь из суббот отмечу это событие микроскопического масштаба и важности. В день рождения нужно быть с самыми близкими людьми.

21

Девятое декабря. Суббота.

Пришел к отцу. Подарок мой ему очень понравился. Я даже не ожидал. Он при мне повесил его в комнате. Говорит:

— Может быть, у тебя способности?

— Нет у меня способностей. Недавно пробовал маму вылепить, не получилось.

Отец ставит на стол тарелки, бокалы и бутылку сухого вина. Я отворачиваю портьеры. Очень люблю смотреть из отцовского окна зимой. Цепочки кустов, паучки деревьев, сеточки тропок, мигающие гирлянды фонарей. Все в миниатюре и с такой высоты кажется чистым и аккуратным, как макет.

Я выпил два бокала вина, и отказали тормоза. Пошел болтать про Тонину. Но между прочим. Есть-де, мол, такая учительница у нас, красавица, мы с ней о книгах иногда разговариваем.

— А кто твой любимый писатель? — спрашивает отец.

— Фолкнер.

Он удивился моей эрудиции. Выпили по третьему бокалу.

— Шутка, — признался я. — Мой любимый писатель — Хемингуэй. А из наших — Паустовский. И все классики мне нравятся. «Герой нашего времени» — прекрасная вещь. Толстого теперь читаю. «Войну и мир».

Отец принес чай и торт. Он хоть и холостяк, а быт

у него образцово налажен. Чашки красивые очень — бутоны. Мы как-то хорошо и свободно разговорились.

— Тургенева повести прочел. О любви. Любовь, любовь... А что такое любовь?

Я вспомнил свою тетрадь и вопросы, которые задавал отцу.

— А любовь — это когда две половинки рождаются в разных частях земного шара и бродят всю жизнь, чтобы никогда не встретиться.

— А когда-то ты ответил мне, что любовь существует.

— Конечно, существует.

Мы со своими чашками перекочевали в кресла, за журнальный столик.

— Почему ты не женишься? — спросил я.

Он внимательно посмотрел на меня и усмехнулся:

— Человек, который хочет чего-то достичь, не имеет права жениться. Я женился на Науке.

— А зачем достигать, если не для кого?

— Очень вероятно, человек, придумавший колесо, не был женат. Какое это имеет значение? Низкий ему поклон.

— А ты маму когда-нибудь любил?

— Володенька, это так давно было... — Он говорит усталым голосом, будто каждую встречу мы только и обсуждаем этот вопрос, а я все еще не понял. — Это так давно было, что уже кажется неправдой.

— Но я-то — правда?

— И ты — правда, и она, и я. И все мы очень разные и очень одинаковые правды.

— Ты говоришь, как мой приятель Капусов. Тот говорит: истины нет. Маяковский — одна истина, Есенин — другая. Если бы появилась одна-единственная истина, закрылись бы пути к дальнейшему движению вперед.

— Забавный паренек, — сказал отец. — Хотел бы на него посмотреть.

— Могу познакомить. Но мы уклонились.

Я нахально лезу на рожон, а он уже, кажется, начал оправдываться.

— Видишь, Володя, всяко может в жизни сложить-

ся. Могут быть страшные ошибки. Мы за них платим долго и мучительно. За некоторые — всю жизнь. Но брак — дело добровольное. Никого из нас не переделаешь. Я пытался внушить твоей матери, что нужно учиться, заставил поступить в полиграфический техникум. Что из этого вышло? Она и года не проучилась. С большим трудом устроил учиться на гримера. Сказали, будет из нее толк, руки у нее хорошие. Ушла. Да и не в этом дело. Разные мы очень. Друг из нее не получился. Она даже домохозяйкой быть не способна. Нет таланта создать уютный, спокойный дом и жить ради этого. Как я мог на ней жениться?

Сказать было нечего. Я впал в какое-то угнетенное состояние. Легкость наша исчезла. Он предложил про водить меня, я отказался.

Вышел на шоссе. Сбоку остались силуэты новых домов с ожерельями горящих окон, а над ними бездонное небо со звездами. Все это как огромный ювелирный магазин.

Я трясся в полупустом автобусе и жалел, что не сказал отцу, как отношусь ко всему этому. Пускай бы знал.

Нужно было рассказать ему другую сказку о половинках. Такую.

Любовь — это каждый раз новая задача. Рождаются две половинки, неважно где, в разных частях земного шара или рядом, и ищут друг друга. Это условие. А решений одинаковых нет. Половинки бродят, ищут и часто ошибаются. Хорошо, если найдут, а то ведь какую-нибудь третью или четвертую часть примут за половинку, а когда очнутся, давай ее мордовать, эту часть. А она не виновата, что ее приняли за половинку, она, может, и есть половинка, только чужая.

Я должен был сказать отцу, что осуждаю его.

Но отец ответил мне на все вопросы. Ведь это он просто так сказал, что хотел заполучить и друга и домохозяйку или хотя бы что-то одно. Но не женился он на матери только потому, что не любил ее. Как же можно жениться не любя? Выходит, он прав?

Я не хочу быть взрослым. Как хорошо нам с отцом было раньше! Снежок летит на парашютиках, а отец рассказывает мне про принца Вектора и принцессу

Биссектрису. Он, должно быть, отлично читает лекции своим студентам, и, может быть, они его даже любят. Но я об этом не знаю.

22

Я был в Эрмитаже. Я понял Матисса. Сам. Демонический и прекрасный Матисс. Раньше глядел на «Танец» как на хоровод монстров. Считал ерундой и тем самым «измом», который мне не нужен.

Сегодня будто прозрел. «Танец» — это праздник жизни. Несутся в пляске люди, звучит симфонический оркестр. Именно симфонический, а не джазовый.

И «Песня». После буйства и ярости «Танца» — печаль. Слева фигура подростка, играющего на скрипке. Я не могу оторвать от него глаз.

Обе картины очень философские. Я долго смотрю на них и, кажется, вот-вот скажу точно и ясно, о чем они. Наверно, о Земле, космосе и о людях...

В музее много народу. Я пошел по залам, не стараясь что-то разглядеть, а с единственной целью — заблудиться. Это мне всегда удается. Путь на третий этаж, к импрессионистам, я обычно нахожу, а обратно блуждаю, как по заколдованному дворцу, гуляю взглядом по лаковым холстам, гобеленам, позолоте, росписям.

Дошел до Рембрандтовского зала. Рембрандт писал мрачных бедных стариков. Мне казалось, он и сам такой — скромный и мудрый. Ну, а Рубенс, конечно, толстощекий, румяный Вакх.

Оказалось иначе. Рембрандт на автопортретах молодой, любящий роскошь Портос, полный здоровья, жизнелюбия, тяги к веселью. А Рубенс — человек с тихой внешностью, с тонким лицом. Вот такое несоответствие.

Я опять осмотрел «Даная» — «жемчужину эрмитажной коллекции». Хороша жемчужина! Лежит немолодая развратная женщина, живот у нее как тухлое яблоко, и груди безобразные, и шея старая. Лицо тоже некрасивое.

Матисса я принял, а вот Рембрандта не понимаю. Стою перед ним дурак дураком, всматриваюсь, отойду и снова приближусь. Пошел дальше.

И вдруг слышу знакомый голос. В зале несколько групп. Я прислушиваюсь и подхожу ближе.

— На этой картине вы видите двух женщин. Одна мадонна, другая служанка. Они очень похожи, не правда ли? Они похожи и вместе с тем различны. Похожи тем, что обе испанки. Но обратите внимание, лицо прислуги в тени и в прямом и в переносном смысле. На лице же мадонны и озарение, и вдохновение, и оживление, и томление, и жертвенность, и причастность...

Голос за стеной людских спин. Пробиваюсь и смотрю из-за чужого плеча. В кругу стоит и распинается отец Капусова.

Он экскурсовод. Вот какой он критик и теоретик. Наверно, ему не очень хочется сейчас встретить меня. Он смутится и обозлится. Это я чувствую. Я ведь ничего не имею против экскурсоводов. Скажи он мне сейчас при этой толпе: «Здравствуй, Вова, становись-ка сюда да послушай. Хватит тебе одними Матиссами любоваться», — толпа бы расступилась, а я сказал: «Здравствуйте, Михаил Анатольевич, спасибо большое. Я с удовольствием».

Я был бы горд, что у меня есть свой знакомый экскурсовод в Эрмитаже. И пускай бы он нес любую ахинею, я ходил бы за ним следом и слушал. Только он стесняется, что экскурсовод, а не академик искусствоведения, что он рассказывает людям о картинах, а не научные работы пишет. А может, экскурсовод, который честно свою работу делает, больше пользы приносит, чем академик иной.

Я выскользнул из зала и спросил у ближайшей смотрительницы, где выход, и побежал.

23

Прочел статью «Стабильность брака», где приведена анкета «Черты идеальных супругов». В анкете предложен перечень характеристик и черт личности. Я, конечно, заинтересовался статьей в связи с несостоявшейся семейной жизнью моих родителей, под этим углом и читал. Вот они, черты двух идеальных супружеских портретов:

ЖЕНА

1. Верность. (У мамы есть.)
2. Опрятность. (Есть.)
3. Трудолюбие. (Есть.)
4. Скромность. (Есть.)
5. Честность и добросовестность. (Есть.)
6. Чуткость и заботливость. (Есть.)
7. Умение вести домашнее хозяйство. (Ведет: умудряется не залезать в долги, готовит обеды, стирает, убирает в квартире. У нее нет чувства стиля, не может создать уют, — но это на мой вкус и, должно быть, на вкус отца. Думаю, бабушка считала, что у мамы в этом отношении все в порядке.)

МУЖ

1. Верность. (Насчет отца — не знаю.)
2. Честность и добросовестность. (Не знаю. Наверно, есть.)
3. Трудолюбие. (Готовится к защите докторской диссертации. Наверно, есть.)
4. Чуткость и заботливость. (Наверно, нет.)
5. Опрятность. (Есть.)
6. Ум. (Есть.)
7. Скромность. (Наверно, нет.)

Вот такая анкета. Глупости, и больше ничего. На мой взгляд, была бы любовь, остальные все качества можно воспитать общими усилиями. Но на анкету ответили пятьсот двадцать человек, а значит, в ней есть какая-то часть рационального зерна. И в таком случае моя мать имеет девяносто процентов, а может, и все сто, чтобы быть идеальной женой. А у отца только два полноценных качества — ум и опрятность. Какое значение они имеют, когда других качеств нет?

Я думаю, с умом все же в анкете что-то недооценили. Нужно еще разобраться, что это за ум и почему он занимает у мужчин шестое место, а для женщин совсем не обязателен.

Все перечисленные характеристики для мужчин и для женщин я заменил бы одной — ум.

Это не тот ум, который уходит в отцовские задачи, и не в полном смысле житейский опыт, а особый ум — чтобы уступать, не ссориться, поговорить по душам и вообще вести себя по-человечески. Для женщин и мужчин этот ум — их верность, скромность, честность, чуткость, это даже опрятность и умение вести хозяйство. Ведь каждый умный человек понимает, что от этих качеств зависит нормальная жизнь, и старается их развить. Этот ум — «неэгоизм». А отец — эгоист. У него есть ум профессиональный, который нужен для его работы, есть «ум вообще». У матери туговато с «умом вообще», то есть с общим развитием, и по профессии она просто пекарь, но у нее есть «неэгоизм». В каком-то отношении она умнее отца.

Еще я изучил статистику вступлений в брак в этой же статье. Смысл статистики — выяснить, почему люди женятся и что из этого выходит. К моим родителям мог подойти только один повод для женитьбы — необходимость в связи с рождением ребенка. Оказывается, по статистике в этом случае количество счастливых и несчастливых браков абсолютно одинаково. Счастливых браков — 21,43%, несчастливых — 21,43%, а удовлетворительных — 57,14%.

Однако если бы мои родители поженились, их брак не только бы не был счастлив, но даже не был бы и удовлетворителен. У них бы ничего не получилось. Мои родители — неровня. Неравный брак как был до революции, так и остался, только суть другая. Здесь ни при чем равенство прав мужчины и женщины. Моих родителей разделяет разница интересов и желаний.

А может, виновата не разница в духовном развитии, а отсутствие любви и эгоизм? Все равно очень обидно, что это случилось именно с моими родителями.

24

Двадцать девятое декабря.

Капусов спрашивает:

— Где ты Новый год справляешь?

— Не знаю, — отвечаю небрежно, — пока не думал.

А Новый год я всегда до сих пор встречал с мамой.

— Поедем, — говорит, — с нами на дачу. Никого из чужих не будет. Родители и Антонина наша с мужем. Отец сказал, чтобы я взял с собой приятеля, вдвоем повеселее.

— Поедем, — соглашаюсь.

Тонина будет. Мама, наверно, не отпустит.

А тут еще осложнение. Прихожу из школы (мама на работе), а на столе, в кувшине (мы в нем капусту квасим), елка-палка стоит. Это для меня. Сел я под эту елку и не знаю, что делать.

На нижней ветке качается на качелях балеринка в пышной, абрикосового цвета юбке. Я помню ее с детства. И семейство гусей, и тонких, выгнувшихся арлекинов. Бабушкины игрушки.

Лучше бы этой елки не было, мне было бы легче уйти. Я ведь все равно уйду. Несмотря ни на что. Могу же я себе такой пустяк позволить! Для меня это очень важно. Я хочу с Тониной Новый год встретить.

Вечером, конечно, скандал. Я разорался:

— Почему я должен сидеть у твоего подола? Я взрослый человек, через два месяца паспорт получу. Я же не буду всю жизнь с тобой сидеть. Имею я право на личную жизнь? В этом ты мне не откажешь!

Мама чуть не плачет, а потом говорит:

— Ты же не можешь поехать туда с пустыми руками. Наверно, мне нужно позвонить родителям этого мальчика и спросить?

— Ты что, так не принято! Нельзя так. Все это иначе делается.

— А сколько же тебе нужно денег?

— Понятия не имею. Потом, деньги — это пошло. Надо что-то другое. Бутылку шампанского, например.

— Может быть, отцу позвонить, посоветоваться?

— Не позорься, пожалуйста. Что мы, сами дураки?

Мать пошла на кухню рыбу жарить. Она отходчивая, совсем не злопамятная. Слышу, приговаривает:

— Ах ты, тресочка-затрещинка. Люблю нашу рыбу, а вот хек в рот не возьму, он у нас не водится.

Я решительно направляюсь в кухню.

— Мама, что за глупости ты несешь?

— Я не с тобой разговариваю. Я так, сама с собой. И что это я раздражаюсь? Ну, болтает — и пусть болтает. Даже скучно было бы, если бы она все молчком. Такая уж она есть. И никто ее не переделает, как, впрочем, и меня.

— Достань-ка со шкафа большую латку, — просит мать.

Достаю ей латку и сажусь на табурет.

— В кого же я длинный такой? — спрашиваю ее. — Ты коротенькая, и отец невысокий.

— Так ведь в деда, — отвечает мать, не задумываясь.

— Это в какого же деда?

— В моего отца.

— И давно ты это знала?

Видимо, матери кажется странным мой вопрос. Она стоит передо мной и вытирает о передник руки.

— Ну конечно, давно. Как ты подрастать начал, я и заметила.

Вот так. Живешь-живешь, и вдруг совершенно случайно на шестнадцатом году жизни выясняется, что фигурой ты вышел в деда, который, захлебываясь, орет: «Незаконный!»

— А родственников отца ты когда-нибудь видела?

— Братьев и сестер у него нет. Про отца его я не знаю, а мать то ли в Калининне живет, то ли в Калининграде, не помню, — задумчиво говорит она. — А может, уже и умерла. Времени-то много прошло. Да и с твоим отцом я недолго встречалась, вот и не познакомилась.

Я делаю над собой небольшое усилие и спрашиваю:

— Ты отца очень любила?

Она помещивает в латке, потом поворачивается ко мне, розовая то ли от плиты, то ли от смущения, хотя вряд ли от смущения, потому что отвечает спокойно и тихо, будто сама вспоминает, как же это все у них вышло.

— Наверно, я не думала тогда о любви. Ага, наверно, не думала. Я потом его очень любила, когда расстались. Знаешь, первое, оно долго помнится.

Каким-то странным образом я завишу от мамы. Я не о том, что она зарабатывает деньги, готовит еду и пришивает оторванные пуговицы. Есть между нами





какая-то более глубокая связь. Наверное, будет понятнее, если сказать, что я от нее — как ветка от дерева. Если повредить дерево, мне передается боль его и отчаяние. И пусть я представляю себя взрослым, умным и самостоятельным — я говорю с ветром и греюсь под солнцем, а она зарылась в землю корнями, ничего перед собой не видит, но, чуть задует посильнее, я тянусь к ней же. И ничего уж тут не поделаешь.

25

Тридцать первое декабря.

С бутылкой шампанского в клетчатой маминой сумке и с лыжами я у Капусова. Собирались долго. А я ждал — Тонина придет. Она не пришла.

С родителями и уймой всякого барахла наконец погрузились в электричку. Я боялся спросить, почему нет Тонины, — вдруг она раздумала с Капусовыми Новый год справлять? Ехал я ради нее, а скажи сейчас, что ее не будет, я почувствовал бы облегчение — гора с плеч, успокоился бы, на даче вдоволь бы на лыжах накатался и повеселился без оглядки, от души. Дорога тянулась вечность. Я спросил, долго ли еще ехать. Капусов ответил:

— Не очень.

В маминой сумке рядом с бутылкой шампанского лежала коробка, а в ней пластина из замазки, узкая и длинная, — для Тонины. Наверно, это лучшее, что я сделал. Вылепил два дерева, которые растут на Песочной набережной. Летом они ничем не примечательны, но, только упадет листва и обнажатся стволы и ветви, сразу видно: одно дерево похоже на Дон-Кихота, а другое — на Санчо Пансу. Сначала я зарисовал их с натуры, а уж потом перешел к лепке, цветом передал задержавшуюся сухую листву и первый снег.

Вот почему я так берег свою сумку, аккуратно ставил и нес. Теперь я подумал: если Тонина не приедет, я подарю деревья Капусову, и делу конец. И от этой мысли мне стало легче. Уж больно меня смущал предстоящий процесс дароприношения.

Электричкой дело не кончилось. В маленьком, зава-

ленном снегом городе долго разыскивали остановку автобуса. На главной площади, возле приземистых гостиных рядов, стояла церковь, вылинявшая от дождей и снегов, как старая портянка. Двери прикрыты, а оттуда — битовая музыка. Вход разукрашен еловыми ветками. Здесь же раскорячилась гигантская ель в серпантине и бумажных фонариках. Родители стали в очередь на автобус, а мы пошли выяснять, что за церковь такая, с секретом.

Ничего удивительного. Церковь оказалась клубом.

Я промерз до костей. Небо, как жесть, белое. И вдруг будто кто ножом по нему полоснул, и сверкнула синяя щель. Потом она стала шириться, словно шторы занавеса поползли по сторонам, а там, за шторами, праздник и сияние.

Не знаю, как мы и в автобус залезли со всеми сумками, рюкзаками и лыжами. До сих пор удивляюсь. А родители сразу к пассажирам стали приставать — где нам сойти.

— Что же, вы не знаете, где ваша дача? — спросил я Капусова.

— Вообще-то это не наша дача, — невинно ответил он. — Это база от института, где мать работает.

Мне было, честно говоря, все равно, база это или дача, но раз база, нужно было и говорить, что база. Вечно туману напустит!

Когда из автобуса вышли, отец Капусова заглянул в нарисованный планчик и скомандовал становиться на лыжи. Шли мы, шли, мне уже стало казаться, что темнеть начало, и никогда мы не доберемся до места, и база эта — миф. И тут, разбросанные в жиденьком леске, показались дачки. Стояли они нежилые, неживые, но в одном доме горел свет. На окнах занавесочки белели, а на крыльце сторож появился, узнал, кто такие, и привел запряженную в санки лошадь. Свалили вещи, сами уселись и мигом попали по адресу. Сторож сказал, чтобы мы заглядывали к нему, он чайник согреет, если нужно, потому что ни газа, ни плиты нет. Капусов-отец поблагодарил и начал сосредоточенно возиться с ключом, но, как только сторож отъехал, повернулся к Капусте-матери и сказал: «Ну и праздничек!» Мне не понравился его тон.

Впервые мне показалось, что не так уж безоблачна семейная жизнь Капусовых, хотя на людях они всегда безукоризненны. А может быть, в порядке вещей, когда близкие люди раздражают друг друга? Вот я — ору на маму, так ведь и люблю ее.

За маленькой верандой начинался темный коридор, куда выходили двери комнат и «голландка». Кругом грязь. В комнатах кровати с матрасами, одеялами, но без подушек. Мы сбросили на них пальто и сейчас же надели. На улице было теплее.

— Ну и праздничек нам предстоит! — повторил Капусов-старший. — Ну и ночька новогодняя!

Капуста молча открывала сумки, бросала вещи. Я себя чувствовал лишним и подумал: что там делает мама?

Капусов-старший ушел, а мы отыскивали огрызок венка и вымели весь дом. Окна завесили одеялами. Сразу потеплело и сделалось уютно. На столе появилась скатерть. А потом развернули рулон рисованных плакатов и стали развешивать на стены. Смешные рисунки. Дружеский шарж на Капусова-старшего. На полосе обоев метра в два — фигура в хитоне. Вокруг лысины — нимб из волосиков, пучок бороды. Похож. Ноги в сандалиях, подпоясан веревкой, а на поясе связка ключей. Фон — ворота с надписью «Эрмитаж». Я, конечно, понял, что нужно понимать шире: «Мир прекрасного», и ухмыльнулся. Шарж на Мишку Капусова: сидит на стопке книг, нога на ногу, колено снизу огромные очки подпирает. И вдруг разворачиваем следующий плакат... Тонина вполоборота. Внешность, конечно, утрирована. Подбородок еще массивнее, глаза под тяжестью век совсем провисли, прическа еще пышнее, а вместо узла на затылке кукиш. Но и в таком виде сразу понятно — красавица. Подарили бы мне этот портрет. Я бы его всю жизнь хранил.

— Это же Антонина Ивановна! Ты ведь говорил, что она приедет?

Я взял какую-то фальшивую ноту, но они не заметили, ни к чему им было следить за моими интонациями.

— Будет ваша Антонина Ивановна, — сказала Капуста.

— Вот хорошо,— сказал я без всякого энтузиазма.

— А пока она не приехала,— приказала Капуста,— берите кастрюлю, картошку и валяйте к сторожу. Поставите варить в мундире.

Капуста мне даже нравится. Она простая и расторопная. Вон как уборку организовала. И голос у нее тихий. Тонкий, хрипловатый и ломкий, как старый пергамент,— голос старушки и ребенка одновременно. Приятный голос, трогательный какой-то. Капуста и Тонина двоюродные сестры, они совсем не похожи. Но Капуста для меня стоит в кругу Тонинино света, а Мишка Капусов — за кругом.

Мы с кастрюлей двинулись по следу саней и проваливались через каждые три шага по колено. Пришлось идти обратно и надеть лыжи. У сторожа топилась плита. Жара стояла африканская.

Возвращаясь, слышали из дома смех Тонины. Приехала. Хоть бы без мужа. Я заранее не любил ее мужа. Капусов сказал, что муж Тонины инженер, и я презрительно окрестил его «технарь».

Тонина была в брюках и свитере, покрасневшая, болтала, смеялась, полуобняла нас с Капусовым. Дом с ее появлением стал живым и теплым. Муж Тонины кивнул нам издали. Мог хотя бы из приличия со мной познакомиться. Вот за каких людей выходят замуж такие женщины, как Тонина! Технарь — ни то ни се. Говорит о рыбной ловле. Капусов-отец беседу поддерживает, только голову на отсечение даю, он удочку вблизи не видел.

Капусов-отец с Технарем елку принесли, и мы стали ее украшать игрушками, яблоками и конфетами.

— У меня есть маленький сюрприз,— сказал Капусов-отец.— Я обещал молчать, но по секрету проговорюсь — объявился Серега Гусев. Обещал сюда подъехать.

Тонина с мужем обрадовались, но так, будто Гусев этот им безразличен и радуются они из приличия.

Скоро нас послали за картошкой. Прошло всего минут сорок, а уже стемнело. Звезды высыпали. Ночь прозрачная, как льдинка. Мы бежали на лыжах и вдруг страшно развеселились, всю дорогу пели, кричали, хохотали, как дикие. Обратно несли чайник с

кипятком и картошку. О том, чтобы шлепнуться, не могло быть и речи, а это нелегко: руки заняты, идем без палок, осторожно и опять давимся от смеха. А в голове у меня одно: она там ждет, в доме.

Свет из комнаты почти не пробивался, зато веранда — маяк. И вот уже световая дорожка легла нам под ноги, и мы, как по ковру, подошли к крыльцу.

В комнате негромко играл магнитофон. В коридоре Капусов-старший и Технарь пытались растопить «голландку». Тонина и Капуста сидели при свече и вполголоса разговаривали. В комнату я не рискнул войти и сел около печки. В проем двери видел два нежных лица, истаявших в неярком свете. Меня наполнило спокойствие, счастье и тихий, умиленный восторг. Ради этого я ехал. Большого, лучшего не хотел.

Растопив печку, Технарь и Капусов зажгли в комнате свет. Все испортили. Пили за старый год. И нам с Мишкой сухого вина налили. Кислая водичка это вино, но приятная.

Однажды попробовал водку — чуть не вытошнило. Если честно, то мне больше всего нравится сладкое вино. Но любить сладкие вина — дурной тон. А сухие невкусными кажутся только с непривычки. Мне вот кофе без молока тоже не нравился сначала, а потом попил и привык. Просто нужно научиться в не совсем вкусном находить вкус. Кстати, в этом есть своеобразная прелесть.

Я вспомнил про того Гусева, который все не появлялся, и тут же заметил, что остальные тоже помнят о нем и ждут. Что же это за Гусев? Забыл спросить Мишку по пути к сторожу.

Пошли какие-то разговоры, где каждый упражнялся в остроумии. Часто с недомолвками. Мишке еще удавалось вставить слово, а мне совсем нет.

Поначалу, кажется, Тонину смущало мое присутствие. Все-таки ее ученик. Но потом она стала совсем естественной, только раза два назвала нас «дети мои» — так она обращается к классу, если у нее хорошее настроение.

Капусов-старший сказал:

— А сейчас тест. Отвечаем по очереди. Как вы относитесь к лошадям?

Капуста молчала, должно быть, знала, что́ это за тест.

Технарь. Я люблю лошадей.

Тонина. Хорошо. У них прекрасные глаза.

Мишка. Я мечтаю на них скакать.

Я. Положительно. Но я их редко встречаю.

Капусов-отец хохотнул.

— А как вы относитесь к чайкам?

Я судорожно придумывал хоть что-то мало-мальски оригинальное.

Технарь. Никак.

Тонина. Двойко. С виду красивая птица, а ест отбросы. И криклива чересчур.

Мишка (а ведь и он, наверно, тужился что-то интересное сказать, да не получилось). Как Антонина Ивановна.

Я. Люблю чаек. Люблю, когда они на воде качаются. И когда стоят на своих длинных ногах. И на суше люблю их и на воде.

Тут Капусов-отец захохотал оглушительно, а Капуста подхихкивала. В душе я торжествовал.

— А как вы к морю относитесь?

Технарь. Я люблю море, особенно в бархатный сезон.

Тонина. Море люблю, только плаваю, как топор.

Мишка. Я тоже.

Я. Не люблю море. Я реки люблю.

— А теперь вспомните свои ответы. Отношение к лошадям — это отношение к мужчинам, к чайкам — к женщинам, к морю — к любви.

Все на минуту задумались, припоминая свои ответы, и натянуто засмеялись.

— Фу, какая ерунда! — сказала Тонина. — Глупейшая штука.

Потом заговорили кто о чем. Технарь кричал:

— Литература — заменитель жизни! Литература — глушитель жизни.

Тонина махала на него рукой:

— Перестань, Коля!

Капусов-отец изрекал:

— Гуманизм — это боль.

Технарь неистовствовал:

— Мемуары — это замочная скважина!

Капусов фантазировал:

— Со своей супруги я бы заказал писать портрет Ренуару, а с Тонечки — Валентину Серову, ну, а Михайлу Михайловича...

Открыли еще бутылку вина. Я опять вспомнил о Гусеве. И опять почувствовал вокруг ожидание.

— Скучнова-та, — отчетливо сказал Мишка.

Капуста встрепенулась.

— Ну ладно, пора накрывать на стол. Накрываю на шестерых.

Тонина сказала, что идет переодеваться в другую комнату. Мы болтались под ногами у старших. И вдруг мы услышали скрип лыж, потом дверь хлопнула и, протопав по коридору, появился мужчина — большой, ростом под притолоку, и очень похожий на мальчишку. У него симпатичная круглая голова и волосы ежиком. Такие нравятся с первого взгляда.

Капусовы и Технарь затолпились и заговорили. Со мной и Мишкой мужчина тоже поздоровался за руку и представился: «Сергей». Просто «Сергей» — а ему уже к сорока.

И тут по коридору прозвучали каблуки. Все обернулись. В дверях стояла Тонина.

Такой красивой я ее никогда не видел. В длинном нежно-голубом платье, юбка завивается клиньями: клин голубой, клин кремовый. Волосы светлые, воздушные. Если бы она растаяла сейчас в воздухе, никто бы не удивился, такая она была. И все это чувствовали. Технарь смотрел на нее с непонятным выражением изумления и недовольства.

Тогда Тонина сделала шаг к Гусеву и протянула ему руку. А он даже не заметил, так напряженно смотрел ей в лицо, когда же опомнился, как-то торопливо схватил ее руку и долго, очень долго тряс.

— Здравствуй, Тосенька. Вот время-то летит! — забормотал.

Я понял, что всем нужно выйти, чтобы они могли просто поздороваться. Как остальные не понимают? И я вышел.

У печки стояли два пенька-чурбана. Я сел, открыл заслонку и стал подкладывать дровины. Огонь хватался за поленья, облизывая, обгладывая их, превращая

в загадочные замки и руины с переходами, кельями и перегородками, тонкими, как папиросная бумага.

Я думал о матери. Скоро двенадцать. Сидит она одна или спать легла? У нас даже телевизора нет. А может, плачет там под елкой, где качается балерина в ватной абрикосовой юбке. Я бросил маму, и ради кого? Чего? Чтобы чувствовать себя здесь чужим и лишним? Кто я? Приятель Мишки Капусова, приехал, чтобы ему не было скучно.

Я не должен был ее оставлять. Ей и так не слишком весело живется. С какими же глазами я вернусь к ней?

Пришел Мишка и сел на второй чурбачок.

— Кто этот Гусев? — спросил я.

— Не знаю, — сказал Капусов. — Раньше отец говорил — неудачник, потом — прожектор. А нынче ничего определенного не слышал. Теперь он кто-то другой, потому что защитил диссертацию.

— А почему неудачник, прожектор?

— Видишь, старик, у Гусева как-то не сразу все вышло. Года два отучился с мужем Антонины в электротехническом, потом бросил. «Себя» искал, по экспедициям мотался, чуть прописку не потерял. Зато потом сразу пошел в рост. Бах — университет, бах — статьи какие-то, бах — диссертация.

— Он геолог?

— Гидробиолог. Аквалангом увлекается, подводной фотосъемкой.

— Наверно, интересная у него работа?

— Наверно, — меланхолически согласился Капусов. — Такая интересная, что Антонину проморгал. Он ведь с ней в одном классе учился, он же ее и с будущим мужем познакомил. Меньше надо было за туманами шататься.

— А что, у Антонины с Гусевым любовь была?

Я молил, чтобы никто не прервал нашего разговора.

— Была вроде.

— Так если была, зачем же она за другого вышла?

— Спроси что-нибудь полегче, — сказал Капусов. — Я что тебе, аптека?

— Ты не любишь Гусева?

— Да нет, почему же. Он появляется раз в сто лет, а разговоров о нем больно много. Надоело.

Нас звали. Оказывается, уже било двенадцать. Я судорожно схватил стакан и загадал желание: чтобы маме было хорошо и чтобы Тонина в новом году хоть чуть-чуть на меня обращала внимание.

И вот уже все чокаются. Где Тонинин стакан, не разберу. Вот уже гимн играет. Еще год прошел.

Включили магнитофон. Тонина с Гусевым сидели рядом и о чем-то говорили. К ним обращались, звали танцевать, а они не слышали, даже не ели, так были заняты разговором. До меня долетали отдельные, ничего не значащие слова, но почему-то сделалось грустно.

А Тонина с Гусевым пошли танцевать, и так ловко, словно много лет подряд только этим и занимались, пританцовывались друг к другу, — шаг в шаг, поворот в поворот. Клинья ее платья то заворачивались вокруг ног, то развихрялись. Очень медленно они танцевали, очень плавно, будто совершая маленькие перелеты. И вдруг я без всякой к Гусеву неприязни понял: в этих двоих танцующих нет сейчас ничего бытового, мелкого — в их танце большая, настоящая печаль, любовь, встреча и расставание.

Капусов-отец танцевал с Капустой, перекладывая бороду с ее правой щеки на левую и снова на правую.

И Гусев с Капустой танцевал, весело, шумно, а она смеялась своим тихим, чуть дребезжащим смехом.

А потом Гусев снова танцевал с Тониной. Я смотрел на них и думал: вот за кого Тонина должна была выйти замуж.

Технарь делал вид, что пьет вино и переговаривается с Мишкой и мной. Он явно нервничал. Наконец не выдержал, подошел и что-то сказал. Тонина ответила. Я не видел, а понял: произошло что-то ужасное. В комнате повис звук шлепка. Технарь ее ударил.

Я выскочил на улицу и долго шел по лыжне, пока не продрог. Тут я заметил, что ушел без пальто, и побрел обратно. Я чувствовал себя побитой собакой.

Зачем я оставил маму? Зачем приехал сюда? Зачем оказался свидетелем этой сцены? Тонина мне никогда этого не простит. Она будет смотреть на меня и снова вспоминать, как ужасно ее унизили.



Я бы и сам много дал, чтобы этого не видеть. Впрочем, я был сплошным противоречием. Я коллекционировал ее неловкости, я помнил дни, когда она плохо выглядела, — она не сделала ни одного промаха, который бы я не взял на учет. Я внушал себе: она не так хороша и идеальна, и любовь свою я придумал. С другой стороны, когда я видел ее утомленной, с растрепанной прической, я любил ее в сто раз больше. Потеряв частицу своего совершенства, она становилась мне дороже и милей, она становилась земной и вызывала земное — жалость.

26

Когда я вернулся, в комнате тихо играла музыка. На чурбачке у печки сидел Гусев.

— Ну что там, успокоились? — спросил я.

— Успокоились.

— Я бы на вашем месте его убил.

— А знаешь, — сказал Гусев, — я не буду его убивать. А пошел он к черту! Я сейчас встану на лыжи и пойду своей дорогой.

Я подумал и сказал:

— Правильно.

В углу сиротливо валялась мамина сумка, я достал коробку, а из нее пластину. Коробку бросил в печь.

— Красивая штука, — сказал Гусев. — Первый снег и раннее утро.

— Да, — согласился я, — вроде получилось.

Осторожно положил пластину в топку изображением вверх. И сейчас же огонь стер краски, а в поддувало полились тяжелые черные пузыристые капли. Занялась дощечка.

— Зачем ты так? — спросил Гусев.

— Мне она не нужна. Да что вы так смотрите, я могу еще налепить.

— Неужели сам делал? — поинтересовался Гусев и посмотрел на меня, будто впервые по-настоящему увидел. — Слушай, а кто ты есть и откуда?

— Я Володя. В школе учусь, в девятом классе. Живу с матерью.

— А рисовать ты умеешь?

— Не знаю, не пробовал. В школе у нас давно нет рисования, у нас черчение.

— Я хочу предложить тебе работу,— сказал Гусев.— Она даже не столько художества требует, сколько аккуратности.

— А что нужно делать?

— Грубо говоря, зарисовывать водоросли в тройном увеличении. Орудия производства: микроскоп, пинцет, миллиметровая линейка и цветные карандаши. Мы бы тебя оформили на половину лаборантской ставки. И матери помощь.

Мне пришлось по душе его предложение. Нравился и сам Гусев. Было в нем что-то открытое, вызывающее доверие. Я долго искал определение, какой же он. И нашел: надежный, настоящий. Еще он какой-то деятельный, даже когда сидит и молчит. К нему невозможно относиться безразлично или несерьезно. Мне хотелось поговорить с ним по-настоящему, по-мужски — о жизни, об отце с матерью, о любви, обо всем. Хорошо бы стать с ним на лыжи и уйти с этой дачи.

Гусев вынул из внутреннего кармана блокнот, вырвал листок и записал телефон.

— Мне пора,— сказал он и вдруг предложил: — Хочешь, вместе поедем? Как раз поспеем к первой электричке и в девять будем дома.

— Я не могу сейчас, так просто, без причины.— Я оправдывался, словно был виноват перед ним. Просто я размазня.

— Понимаю.— Он встал.— Да, а кому ты хотел подарить свою картинку?

— Мишке Капусову,— соврал я. Не знаю, поверил он мне или нет.

Гусев ушел в комнату и тут же появился, уже в полушубке. Сказал:

— Прощай, брат.

Я хотел проводить его, но меня опередила Тонина. Она выбежала на улицу в своем длинном платье. По звуку я понял, Гусев вытащил из снега воткнутые лыжи, палки и возится с креплениями. И я подумал: вдруг она не вернется сюда больше, уйдет за этим человеком в своем воздушном платье и легких туфель-

ках прямо по снегу? Я бы на ее месте так и сделал. Я ее благословил и тут же испугался, будто увидел, как она идет в наброшенном полушубке и он рядом, круглоголовый мужчина-мальчишка. Но она вернулась. Ни она, ни я не ушли за Гусевым.

В топке цвели огненные цветы и порхали огненные бабочки, а в поддувало валились огненные звезды и долго и затаенно мерцали из золы.

Тонина села рядом — какая-то сникшая, даже плечи у нее горестно опустились. Когда Гусев вставал, он сдвинул чурбан, и Тонина оказалась совсем близко от меня. Сидеть ей было неудобно, и она положила руку на мое плечо.

Меня куда-то понесло, кружилась голова от выпитого вина, жара печки и оттого, что Тонина сидела бок о бок со мной. В комнате все играла музыка, прекрасная и печальная, из какого-то кинофильма. И я неожиданно для себя сказал:

— Я вас очень люблю.

Сказал и опешил. Это было не объяснение в любви, я будто сообщал ей само собой разумеющееся, чтобы утешить ее немного. Она тихо ответила:

— Спасибо, мальчик. Я знаю.

Что она знает?! Что она знает обо мне? Зачем она вернулась? Я чувствовал горький запах ее духов. Зачем она положила мне на плечо руку? Я же не каменный. Я ради нее маму бросил.

Я смотрел на пляшущий огонь, все события этого дня навалились на меня разом. И я позорно заплакал.

Тонина перепугалась, стала гладить по голове и уговаривать:

— Ничего, ничего, все пройдет. Все будет хорошо. Ну перестань. Кто-нибудь зайдет и увидит, что ты плачешь.

Я неловко встал и, не оглядываясь, вышел на крыльцо. Под ложечкой тоскливо посасывало. Я давно заметил, что у меня все чувства с желудком связаны. И страх, и любовь, и грусть. Я понял наконец-то, что Тонина никакой не идеал, она просто человек, уязвимый, как все. Она, конечно, ходит в магазины, как моя мама, и готовит обеды для своего мужа. И сейчас ей очень плохо.

Утром все сделали вид, что ничего не произошло. Воды не было. Мылись снегом и зубы чистили снегом. Все вокруг казалось другим, будто я впервые видел это место. Справа — пустые домики базы, слева — снежное поле. Небо в маленьких пестрых перышках облаков, как спинка курочки-рябы.

После завтрака все собирались идти на лыжах, а я — домой. Тонина меня догнала и, замаявшись, говорит:

— Володя, забудь, пожалуйста, про вчерашнее.

Я смотрел на нее прямо, не скрываясь. Она боялась, что я в школе могу сболтнуть лишнее. Попросила бы Мишку, он бы прямо сказал: «Володя, не трепись о вчерашнем». Не доверяет Мишке.

— Вы могли бы меня не предупреждать.

Она подошла ко мне совсем близко и стоит.

— Не обижайся, мой душевный человечек. Я тебя поняла.

Что поняла? Она же меня не знает.

— Ну, я пойду, — что было сил оттолкнулся палками, чтобы сразу взять разгон. И покатил.

Кого я любил? Не себя ли? Я интересовался только собой и своими чувствами. А может, это у меня возрастная потребность в любви к чему-то красивому, блестящему, яркому?

Я уже сам себя не понимал. Гармония — это когда человек имеет возможность судить обо всем ясно и правильно. У меня этой гармонии нет.

Первое января.

Высунув язык, мчусь домой. Я люблю только свою мать, такую, как она есть: не очень красивую, не современную, не модную, не рассуждающую про Фолкнера и Гогена.

Прихожу виноватый, ищу слова. Мать какая-то не веселая. Мнетя, мнетя, наконец говорит:

— Ты не ругайся, пожалуйста, я дверью хлопнула, упала твоя картинка с церковью и помялась.

Протягивает мне испорченную пластину. А я заливаюсь великодушием:

— Ничего страшного. Пусть все наши несчастья этим и кончатся.

Она повеселела. Я осторожно спрашиваю, что она вчера делала, и вдруг замечаю на столе открытую общую тетрадь. Это мой дневник. Я столбенею на месте.

— Что это? — спрашиваю.

Она молчит, внимательно смотрит. Она прочла.

— Ты читала это? — Я готов расплакаться.

— Нет, не читала. Она здесь лежала. Я думала, нужная. — Показывает на стопку книг. — Я пыль вытирала...

Что она несет?

— Зачем ты рылась в моих книгах?

— Я ничего не читала.

— Как тебе не стыдно! — Я начинаю орать. — Я дома не могу хранить вещи! Шпионишь за мной! Ненавижу!

Я с воплями несусь в ванну и запираюсь на крючок. Она все прочла, в этом я уверен.

— Это еще хуже, чем чужие письма вскрывать! — кричу из-за двери.

Она этого не понимает. Как жить с такой? Отец прав, какой из нее друг? Отец знал, что делал. Только в историю кретинскую попал со своим отцовством. Может, он никому и не говорит, что вот уже шестнадцать лет у него есть сын. Как же он может меня по-настоящему любить, если ее не любит? А я ее сын, шпионкин.

29

Первое февраля.

Отец мне выдал деньги. Кончу школу и денег у него не буду брать. Скажу ему, что со стипендией моей покончено. Придумал на Восьмое марта матери подарок из этих денег купить и сказать, будто отец послал. Как мне раньше это в голову не приходило? Невинный обман, а ей приятно. Прихватил с собой Надьку Савину, и после уроков пошли выбирать. Часа три ходили. Купили кофту. Матери должен пойти кофейный цвет.

Когда домой шли, Гусева встретили. У него хорошая улыбка, рот до ушей. Симпатия.

— Здорово, — говорит, — художник. Что же не звонишь? Раздумал работать?

Я и сам расплываюсь от удовольствия и смущения.

— Нет, не раздумал, телефон потерял. Потом каникулы, потом хотел у Мишки Капусова выпросить, как до вас добраться, вот и прособирался.

Он снова записывает мне телефон.

— Гуляете? — спрашивает.

— Маме подарок покупали.

— А я здесь недалеко работаю. Видишь дом с башенкой? На втором этаже. Приходи на следующей неделе. И барышню свою приводи.

Тут и Надька обрадовалась, по голосу слышу.

— Спасибо, — радостно говорит. — А чем вы занимаетесь?

— В основном бумажным делом. А вам покажу что-нибудь интересное. Чудес у нас много.

Здрасьте-пожалуйста, Надька-то здесь при чем? На что она мне сдалась?

— Зайдем, — говорю, — обязательно.

И мы прощаемся.

— Хороший дядька, — говорит Надя. — Откуда ты его выкопал?

— Много будешь знать.

Обиделась. Ну, да бог с ней. Нужно как-то избавить ее от этой глупой детской влюбленности.

30

Все это время я помнил о предложении Гусева. Естественные науки меня всегда привлекали. Ботаника и зоология больше, анатомия меньше.

Кабинет биологии с его теплым влажно-вялым запахом обладает для меня какими-то притягательными свойствами. Кафедра под навесом кожистых вырезных листьев монстер и прозрачных зонтиков папируса, стены, затянутые традесканцией, на подоконниках и прямо на полу — шары и сардельки кактусов, колючих, волосатых, пуховых и голых, вырезанные фестонами

листья филлокактусов, таинственный густо-зеленый полумрак аквариумов. В углу — невысокий, худенький скелет. В лаборантской запах тот же, только сухой и пыльный. По стенам развешаны снопики пшеницы, ржи, овса, льна, все завалено наглядными пособиями, гора таблиц, в стеклянном шкафу — штук двадцать микроскопов, чучела зайца, лисы, птиц, а в ящике — живой еж.

В шестом классе у меня была даже идея составить определитель растений. Я видел настоящий ботанический определитель, но там все по-латыни, шибко научно и неинтересно. Вот и надумал я сделать каталог, где были бы цветные картинки, названия и заметки — чем эти растения знамениты и какие у них особые свойства. Начал собирать материалы, да бросил. Кстати, хорошая была мысль. Для школьников полезно было бы сделать такую книгу.

А вот с общей биологией нам не повезло. Биологичка у нас — самый нелюбимый учитель. Что уж говорить об отношении к предмету, когда отношение к учителю, который ведет этот предмет, самое отрицательное.

В учебнике, в разделе «Происхождение жизни на земле», есть портрет Жоржа Кювье. Если пририсовать кудельки на макушке — вылитая биологичка. У нее и прозвище — Жора. Потрясающее сходство: овал лица, огромный лоб, маленькое расстояние между носом и верхней губой. Весь класс в учебниках Жоржу Кювье кудельки пририсовал.

В начале ноября мы проходили половое размножение организмов, и был ужасный скандал. Жора говорит:

— Половые клетки многоклеточных организмов возникают и развиваются в особых органах.

— Это в каких же? — спрашивает Дмитриев.

— Совсем не в тех, про которые ты думаешь, — выкрикнул Коваль.

Стали смеяться, девчонки хихикают, сам Коваль от смеха под парту полез. Жора выскочила из-за кафедры, стала топать ногами, стучать линейкой, грозить, кричать, что мы циничные и развращенные. Лучше бы промолчала: ребята посмеялись бы и успокоились, а

она только масла в огонь подлила. Физик вышел бы из такого положения с блеском. Обязательно ответил бы, и так, что все хохотали бы до икоты, но уже над Ковалем. После такой разрядки мы и занимались бы с большим удовольствием.

А тут еще Калюжный приперся, опоздал на урок. Видит — скандал, а в чем дело, понять не может. Хочет проскользнуть на свое место — Жора проход загродила. Он бежит за ее спиной, старается мимо нее бочком проскочить, а она его в пылу и не замечает. Только он вправо сунется, и она вправо, он влево, и она влево. Все еще больше смеются.

А Калюжный бросил попытки пробраться к парте, отправился к доске, нарисовал нимб с крылышками и стал под рисунок. За плечами крылышки, над головой нимб. Класс пришел в неистовство. Некоторые уже смеяться не могут, только стонут.

Биологичка за директрисой побежала, так и не заметив Калюжного.

Пришла директриса — тишина полнейшая. Выговор, конечно. Дмитриева и Коваль — в директорский кабинет.

Вовсе Коваль не циничный. У него собака на днях никак ощениться не могла, а потом болела, так Коваль от нее двое суток не отходил, ухаживал за ней и щенками.

Жора не понимает, что виновата больше она, чем мы. Младшие классы, те, как придут на урок, обязательно разорвут листья драцены и заплетут в косички, бегонию едят.

Странно, если бы ко мне так относились ребята, я бы ушел из школы, хоть в уборщицы. А Жоре хоть бы что.

Тонина рассказывала у Капусовых одну историю, а Мишка Капусов — мне. Первоклассники написали письмо в милицию. Письмо с орфографическими ошибками: «Дорогая, уважаемая милиция! Заберите, пожалуйста, нашу учительницу. Очень просим».

Нельзя работать без призвания. Особенно с людьми.

Пятое февраля.

Я сбежал с физкультуры и явился домой раньше времени. Звонит Лидия Ивановна, мамина подруга, они вместе работают. В детстве я звал ее тетей Лидой, а она меня — Вовкой. Уже года три я зову ее Лидией Ивановной, а она меня — Володей.

Лидия Ивановна говорит:

— Вова, это тетя Лида, — вроде всхлипывает или охрипла. — Я зайду к тебе на минуту.

— Мамы нет, — говорю.

Заявилась-таки. Плачет:

— Мама под машину попала.

Я затрясся, слова не могу сказать. Хочу спросить: «Что с ней? Жива?» А Лидия Ивановна мотает головой, и я все понимаю. Я ей показываю, чтобы ушла, а она жестами — «Сейчас, сейчас ухожу» и садится на сундук, рядом с вешалкой. У меня зубы дробь выбивают. Я хочу и не могу спросить: где она? ее привезут? и какая она?

Какие-то жуткие картины представляю. У нас старый дом. Лестницы узкие, крутые, марши короткие, не то что гроб — носилки не проходят. Когда умер сосед, его спускали вниз в простыне, а гроб ждал в машине.

Только бы ее не привезли.

Я плетусь в комнату. Подъезжает машина. Не помня себя высываюсь в форточку. Нет, не она. Слава богу.

Парадное выходит во двор, а рядом, в подвале, сдают бутылки. Это за ними. Вот уже по конвейерной ленте поползли ящики. Звон стекла.

Я закрываю форточку. Не плачу. Станный озноб, пустота и неприкаянность. Меня уже не волнует, что ее привезут. Наверно, я ни о чем не думаю. Трясусь и шляюсь по комнате. На кушетку лягу, сяду на стул, опять лягу, на кровать, на белое покрывало, на котором мама не велела лежать. Прямо в ботинках, на живот. Опять встану. Хочу закурить, руки трясутся.

Я не осознаю, что случившееся относится к моей матери, что у меня нет больше матери. А будто небо осело на меня и давит огромной мягкой, вязкой и серой тяжестью. Я лежу распластанный, и мне уже нечем



дышать. Эта непереносимая тяжесть называется горем. Просто — горе.

Я ее только сегодня утром видел.

Пошел на кухню. Возвращаясь, наткнулся в прихожей на Лидию Ивановну. Она не ушла.

— В Куйбышевскую больницу поезжай, — говорит.

Встает и направляется к двери. Я хочу спросить, как все произошло, и не могу. Вываливаюсь за ней на лестничную площадку.

— Как ее задавило?.. Лицо у нее есть?.. Что у нее с лицом?

Меня сейчас это беспокоит чуть ли не больше всего. Мне страшно. Я боюсь того, что должен увидеть в больнице. Я боюсь ответа.

— Личико чистое. Все на ней чистое. Халат белый, только в пыли. Унесли ее, а на дороге кровь. Даже не поняли сначала, откуда натекло.

Ну вот, теперь ушла. Машина с бутылками отъехала.

Я кое-как оделся, чтобы в больницу ехать, и уже в пальто опять сел к столу и закурил. Я ее, наверно, сейчас увижу. Ее нет. Я один остался.

По дороге позвонил отцу. Он пришел в замешательство. Не знал, что сказать.

— Этот чертов завод, — бормотал он. — Я тысячу раз говорил ей...

Он обещал подъехать в больницу, но к этому времени меня уже там не будет, даже если он выедет немедленно. Отцу об этом я не сказал.

Вечером я опять шарахался по квартире. Кто-то приходил, долго звонил, я не открывал. Дважды звонил телефон — не подошел. Свет погасить я не решился. Заснул только под утро на маминой кровати.

Проснулся — солнце в окно. Не знаю, который час. Будильник остановился. В кухне мертво. Чайник холодный. Кастрюльки какие-то на плите, крышек не поднимал. Тут и отец пришел.

Он не разделся. Сел, оглядывается. Он у нас никогда не был. Жалкий он какой-то. Ростом небольшой. Шапка его меховая на столе лежит. Помолчали. Я закурил, впервые при нем. Меня тошнило.

— Пойду чайник поставлю.

— Я не хочу,— сказал он.

— Я для себя.

Заварки не нашел, зато обнаружил полпачки кофе и целиком сыпанул в кофейник. Поставил на газ. Оторвал кусок черствого батона и намазал маслом.

— Кофе будешь?

— Нет, спасибо.

Я сидел напротив него, ел батон и запивал кофе, густым и черным, как мазут, старался не чавкать. Он молчал.

Я аккуратно собрал крошки со скатерти, прикрыл кровать.

— В морге просили,— сказал он,— принести белье, платье и туфли. Давай соберем. Поеду и свезу.

Я вспотел. Вспомнил, как мама на кухне белье свое сушила: лифчики какие-то с вытянутыми резинками, штаны, рубашки застиранные, мелкие стрелочки ползут по ним, дырочки, как от моли. И все во мне возмутилось. Он же не может, не должен, не имеет права на это глядеть. А он ждал. Он нерешительно направился к шкафу.

— Здесь у вас белье?

— Нет!

Я в один прыжок встал между ним и шкафом. Он даже испугался.

— Нет,— сказал я.

— Может, купить нужно? — беспомощно спросил отец.— Я размеров не знаю. Вчера пришел туда, меня не пускали, спросили, кто я. Растерялся, сказал, муж. Я думал тебя там найти. Белье нужно бы женщинам, конечно, поручить. Были ведь у нее какие-то знакомые.

— Я уже отдал белье тете Лиде,— соврал я.— Она снесет.

Отец кивнул.

— У меня идиотское положение,— сказал он.— Мне сказали принести белье, потому что я представился мужем. Я женщину там встретил с завода, она говорит, похороны завод берет на себя.

Я кивнул.

— Паспорт вчера отнес. Свидетельство о смерти получил,— сообщил я.— Пускай завод похоронит. Там ее любили.

Он кивнул.

Мы сидели друг против друга и кивали головами, как китайские болванчики, голоса у нас были постные. И я вдруг впервые понял — напротив меня сидит сорокасемилетний я. У него тот же лоб, и так же волосы лежат, и глаза мои, и все мое, только постаревшее.

Когда отец наконец ушел, я открыл шкаф и вывалил все белье на кровать. Оно нежное, как всякий много раз стиранный трикотаж, аккуратно выглаженное и уложенное. Я собрал то, что получше. Снял с вешалки любимое мамино платье, серое с красными пуговками в виде ромашек. Достал выходные туфли, долго их чистил. Я не хотел, чтобы для нее купили все новое, безличное, и для нее и для меня чужое.

Я тщательно завернул вещи, боясь помять платье, и повез Лидии Ивановне свидетельство о смерти.

Лидия Ивановна пробовала меня покормить, но я не мог есть. Сидели с ней за круглым столом. Иногда по комнате бесшумно скользила старушка. В дверях, притаившись, стоял маленький мальчишка, пока его не уволок куда-то муж Лидии Ивановны.

— Вышла... нет, выбежала... — голос у Лидии Ивановны дрожал, — до лаборатории, пальто не накинула. Выскочила из парадного, а тут машина, сыворотку с молокозавода привезла...

Глаза у меня наполнились слезами, я отвернулся и поднял к потолку голову, подперев подбородок рукой. Я не хотел, чтобы слезы выкатывались, но они уже потекли за уши. Лидия Ивановна предложила наготовить всего, чтобы поминки справить. Это, конечно, обычай. Только я не мог с чужими. Я отказался. Позвала у нее пожить. Теперь меня все к себе пожить зовут.

32

Седьмое февраля.

Холод страшный. Город заиндевел. С Дворцового моста Кировский мост не виден. Все в белой пелене, лишь огромный ствол радуги пробивает неяркое молочное марево. Все деревья кажутся облаками. Летний сад тоже облако, порозовевшее сверху.

В своих старых ботинках я совсем одеревенел. Отец вчера звонил в школу, там знают, почему меня нет на занятиях. Я поехал к Славику, но его не оказалось дома, он на соревнованиях. Оставил ему записку, что завтра хоронят маму. Ждать не стал. У Славы недавно вернулась сестра из роддома, там свои заботы.

На остановке автобуса жалась, видно, вконец промерзшая тетка и умоляющим голосом выкрикивала:

— Граждане, покупайте автобусную карточку! Последняя автобусная карточка! Купите, ради бога...

Ей, наверно, очень хотелось домой, в тепло. Мне не хотелось, да только пойти было некуда. А по улицам не погуляешь.

Входя во двор, я налетел на Надьку Савину. Надька остановилась, сказала: «Володя!» — и схватила меня за руку. Она была без перчаток, но руки у нее мягкие и теплые. Я стоял спиной к стене, мы смотрели друг на друга. И она рванулась, побежала на улицу. Что она делала у нас во дворе?

Тут я впервые за три дня вспомнил Тонину. Она знает про маму. Наверно, жалеет меня?

Пришел домой, опять мотаюсь из угла в угол. Впору удавиться. В этих стенах я с ума сойду. Снял вышитую газетницу, картину, карту содрал со стены, репродукцию Ван-Гога и «керамику» свою с новгородскими церквями.

Стены сразу оголились, но меня такой их нейтральный вид, кажется, успокоил. Потом я сгреб с комода в большую сумку какие-то безделушки, флакончики, свечки свои красные, туда же упрятал салфетку и скатерть. Зеркало положил на картину, стеклом вниз. Собрал мамины вещи, запихнул в шкаф и закрыл его на ключ. Но казалось, эти вещи меня тревожат и из-за стенок шкафа. Время от времени я открывал дверцу, будто проверял, там ли они. Трогал платья, висевшие на вешалках, выдвигал ящики. Сколько времени прошло, я не знаю, только раздался звонок. Пришла тетя Поля.

Я не видел ее с детства. Но мне показалось, она мало изменилась. У нее очень тонкие, нервные черты лица. Поставь их посимметричнее, и она была бы красивой. Тетя Поля на маму совсем не похожа.

Для начала она прослезилась. Потом я рассказал, как все произошло. Потом говорить было не о чем. Я спросил, жив ли дед. Она ответила, жив, но почти ослеп.

Тетя Поля направилась в кухню наводить ревизию. Вскоре что-то зашипело на сковородке. Я опять походил, открыл шкаф, пощупал платя и тоже пошел на кухню. Мы поели.

— Что это у вас комната ободранная такая? — спросила тетя Поля.

— Убрал с глаз ерунду всякую. Не могу смотреть на вещи. Каждая что-то напоминает. Вот и платя.— И вдруг я понял, что́ нужно делать, и с надеждой посмотрел на тетю Полю: — Заберите, пожалуйста, платя. Я вас очень прошу.

Она улыбнулась асимметрично (если не сказать попросту — криво):

— Они же мне не подойдут.

— Переделаете, — горячо возразил я. — Отдадите кому-нибудь.

Я вязал уже третий узел. Уложил платя, и пальто, и плащ, который мы купили осенью на мою зарплату, и кофту, которую я должен был подарить на Восьмое марта от отца. И обувь завернул. В общем, не так много и получилось. Потом я тащил эти узлы до электрички.

Вернувшись, отволол китайскую картину, газетницу и много разной мелочи к нашей дворничихе. Она качала головой, но, кажется, осталась очень довольна.

Потом я совершил несколько экскурсий на помойку. Подмел в комнате. Кругом стало голо. Одна мебель. В комоде валялось мое белье и несколько рубашек. В шкафу висел мой костюм. Все.

Я успокоился и вдруг почувствовал страшную усталость, будто целый день вагоны грузил. Лег и уснул как убитый. Когда я сплю, мне хорошо. Я все забываю.

33

Восьмое февраля.

Лидия Ивановна завязывает бант на венке.

Мама. Подойти к ней, сказать что-нибудь самое обыкновенное уже нельзя. На себя не похожа. Нос

вытянут и опущен, подбородок выдвинут вперед, шея вздута.

Толкнутся незнакомые женщины. Отец ходит по улице, поджидает машину. Пришел Славик. Ничего не сказал, крепко сжал руку. Мне сегодня все жмут руку, а кто не жмет, тот — лизаться.

Машину подали. Трясемся в дороге. На крышке гроба, на полотенце, буханка подпрыгивает. Мама тоже трясется в своем ящике. Это беспокоит меня. Мне больно.

И вот машина останавливается. Гроб подтащили к дверце, он качнулся и поплыл, как ладья. По улочкам кладбища, между сугробами, его везет белая лошадь.

У дороги я вижу расчищенное место и кучу сырого желтого песка. Здесь мы останавливаемся. Гроб ставят на землю и опять зачем-то открывают. Если бы я мог запретить! А я ведь для нее здесь единственный близкий человек. Я боюсь, что у нее там от тряски в автобусе что-нибудь не в порядке.

Говорят речи. Я не слушаю. Меня какой-то дядька спрашивает, не хочу ли я сказать. Что сказать? Я на него посмотрел, и он отошел.

Тут я увидел, как по тропинке бежит кривая фигурка тети Поли. За руку тетя Поля держит старика, он снимает шапку. Еще последний говорящий не кончил, как старик оказался у гроба и стал ощупывать мамино лицо. Кто-то дернул старика за рукав. И в тот же момент зашептали со всех сторон: «Отец пришел. Он слепой».

Лицо деда, заросшее желтой неопрятной щетиной, не дрогнуло. Он долго копошился над гробом, потом встал и дал знак продолжать.

Отец стоит напротив меня. Он маленький, худой. Шапку в руке держит. Пальто у него почему-то расстегнуто, а шарфа нет. По тонкой шее бегают кадык, будто отец все время глотает слюну.

О крышку гроба стучают мерзлые комья. Женщины плачут. Слыша, как они плачут, и я начинаю плакать. Становится легче.

Как только установили обелиск, дед позвал тетю Полю, и она повела его обратно по тропинке. Я вздохнул с облегчением. Боялся, что он подойдет ко мне и

будет своими пальцами ощупывать мое лицо, а меня вырвет.

Потом Лидия Ивановна зовет меня с собой, они с женщинами решили собраться и помянуть маму. Выручил отец, сказал, что я иду с ним. Он звал меня поехать к нему ночевать. И Славик предлагал. Я отказался. Ждал, пока все уйдут.

Обелиск сделали на заводе. Сейчас его не видно. С четырех сторон он завален венками, кругом цветы. Их столько, сколько ей, бедной, за всю жизнь не подарили.

Мы со Славиком остались одни, посидели на скамеечке соседней могилы и пошли пешком в центр. Здесь забрели в кино, потом Славик поехал домой, а я посмотрел еще три документальных фильма.

Идти было некуда. Зря я, наверно, не пошел с Лидией Ивановной, да только чужие они мне. Все чужие. Тонина тоже чужая. Все были свои, пока мама жила.

Я купил колбасы, хлеба, дома вскипятил чай. Ел на кухне. Комната меня ужасала своей пустотой и неуютностью. Как я мог разом оборвать все ниточки! Хоть бы платье ее какое-нибудь осталось. Я бы его повесил на спинку стула и думал, что она вышла в магазин и сейчас придет.

Я окончательно пал духом. Жалел, что не поехал к отцу или Славику. Можно было бы и теперь позвонить отцу и поехать к нему. Всего только десять часов. Но я устал.

Звонок в дверь. У меня мороз по коже. Вдруг там, за дверью, мама в своем сером платье с красными пуговицами-ромашками. Нервы в последние дни стали никуда. Мне хотелось, чтобы кто-то пришел. Один я бы свихнулся. Но сейчас я боялся открыть дверь. Перед тем как открыть, зажег в прихожей свет, сбросил крюк, толкнул дверь и отпрянул.

На пороге стояла Надя Савина, держала что-то большое, завернутое в платок. На радость у меня не осталось сил, но, когда я увидел Надю, я испытал больше чем радость, я понял — спасение мое пришло. А я ведь к ней, честно говоря, всю жизнь по-свински относился.

Снял с нее пальто, усадил. Я наглядеться на нее



не мог. Кожа у нее очень белая, чистая и красные, морозные яблоки щек. От тепла или от смущения она еще больше покраснела. У нее красными стали лоб, и нос, и подбородок. Она пошла в прихожую и вернулась с тем большим предметом, который принесла, сняла с него платок, а там клетка. В клетке снегирь.

— Что это? — удивился я.

— Снегирь.

— Почему снегирь?

— Ты же сам однажды сказал, что хотел бы в тростниковой комнате повесить фонарь и клетки с птицами. Не помнишь разве?

— Помню.

У снегиря грудка как Надины щеки. Он ожил от света, отогрелся и запрыгал, как мячик, с жердочки на жердочку. У меня теперь снегирь есть.

Я схватил ее руку и долго тряс. Вид у меня, наверно, был идиотский. Она даже смущаться перестала.

— Я тебе кофе сварю, — сказал я.

— На ночь ведь кофе не пьют?

— Ну и пускай не пьют, а мы попьем.

Я сварил кофе.

— Почему у тебя комната такая пустая? — спросила она.

Я стал ей объяснять все, как было, очень длинно и несвязно, но она, кажется, поняла.

Я собирал репродукции с картин разных художников из «Огонька». Теперь я вывалил их перед Надей.

— Давай вешать только портреты, — сказала она. — И сразу в комнате будет много людей.

Мы отобрали портреты и развесили по стенам. И выпили по чашечке кофе.

— Я вообще-то, — призналась она, — не люблю кофе без молока. Но я еще могу выпить. Я с удовольствием.

Шел уже первый час. Она все время поглядывала на будильник, а я боялся: встанет сейчас и уйдет.

— Если хочешь, — сказала она, — я с тобой до утра посижу.

Она все понимает.

— Домой только позвоню. Где у тебя телефон?

Я показал ей и ушел в комнату. Говорила она долго и тихо, должно быть, ей не разрешали остаться. Может,

и не разрешили, я так и не узнал этого. Она вернулась и сказала:

— Все в порядке.

Тогда мы выпили еще кофе, чтобы не заснуть. И все же через некоторое время нас разморило.

Я раньше думал, что у нее некрасивые руки. Ерунда. У Нади большие белые руки, очень нежные, и вены просвечивают легким голубым рисунком, как реки на географической карте.

Я рассказывал ей: как мы жили с мамой, как ругались, мирились, как здорово мама пекла пироги, рассказывал все вперемежку. Всякие такие глупости рассказывал. Может, я и делал-то это для себя, а не для нее. Но она так внимательно слушала. А ведь уметь слушать — это редкий дар.

Потом мы почему-то сидели на письменном столе, и я положил ей на плечо руку, будто она моя сестренка. Я не знал, как выразить все, что чувствовал к ней.

Она как-то странно сгорбилась, застыла и сказала шепотом:

— Мне так неудобно.

— А ты подвинься поближе, — прошептал я.

Она придвинулась, и мы сидели, прижавшись друг к другу, будто были одни в нашем большом старом доме и во всем городе. Оба мы были как-то по-детски беззащитны и испуганы. Я подумал, что мы с Надей, наверно, подружимся, но такое у нас очень не скоро повторится. Я говорю о том, что мы чувствовали, — о доверии, об откровенности.

Потом мы опять сидели за круглым столом и дремали, опершись на локти. Ушла Надя в семь утра. А я упал на мамину постель и только успел подумать: «Попадет Надьке».

34

Десятое февраля.

Телефон звонит бесконечно. Все мной интересуются. Спрашивают, как живу и чем питаюсь. Сегодня приходил отец. У него был намечен крупный разговор, и он, волнуясь, начал издалека. Как я жить собираюсь? Сказал ему, что твердо решил идти работать и в вечер-

нюю школу. Через две недели паспорт получу, а к этому времени и работу найду. Я уже и с директором школы говорил.

Отец стал убеждать меня закончить школу. Но я ведь и так закончу ее через полтора года. Он предложил поселиться у него. Я отказался. Кажется, он боялся, что я соглашусь. Я бы его стеснил, нарушил режим и устоявшиеся привычки. Отец вздохнул с облегчением. Спросил, поговорить ли о работе для меня в одном НИИ. Зачем? Объявлений о работе много. Раз у меня нет никаких определенных желаний, не все ли равно, где работать. Была у меня, правда, потаенная мысль — Гусев. Я ведь к нему так и не сумел зайти.

Смерть матери все перевернула, поставила с головы на ноги. Куда-то уплыла Тонина. Действительность всегда вытеснит воздушную фантазию. Я все еще не верил, но ведь любовь моя кончилась. Не думал, что это произойдет так быстро. Уплыли Капусовы. Потускнел отец. Остался Славик. Появилась Надя. И Гусев. Мне не хотелось терять этого человека.

Отец просидел не больше часа, а мы уже исчерпали все темы. Он водил пальцем по ребру стола, словно не знал, что делать, и уйти не решался, и оставаться было уже незачем. Я заметил, что он сегодня небрит, не вспомню другого такого случая. И еще он показался мне очень одиноким, и я впервые в жизни пожалел его.

— Ты бы хоть собаку завел, что ли, — сказал я.

— Зачем? — Он удивленно смотрел на меня.

— Живое существо все-таки.

—хлопоты с ней. И потеря времени.

Я видел в окно, как он пересекает наш пустынный каменный двор, и у меня снова сжалось сердце. Худенький, как мальчишка, и походка усталого человека.

А вчера с завода целая делегация явилась. Молодые ребята. Проговорили с час. Сказал им, что работать иду. Давай, говорят, на хлебозавод. Я даже одного паренька научил, как свечи отливать.

Сегодня, я уже спать собрался, Лидия Ивановна звонит. Деньги мне на работе выписали. Вроде помощи. Ребята принесут или я сам зайду через день? Обещал зайти.

Двенадцатое февраля.

В проходной я прошу вызвать мастера второй бригады, то есть Лидию Ивановну. Вахтерша звонит куда-то и не может дозвониться. Потом и говорит:

— А ты не Шуры покойной сынок? Ну-ну... беги через двор — вон дверь, на второй этаж. Там спросишь. А я еще позвоню.

Она дает мне белый халат. Здесь все в халатах. Я скидываю пальто и бегу через двор, широкий и пустой. Наверно, здесь это с мамой и произошло. Я воровато осматриваю асфальт, словно все случилось только что и я увижу что-то страшное — место, где ее сбила машина. Кровь.

Лестница отделана голубым и белым кафелем. Чисто и скучно. Я стараюсь отдышаться и успокоиться. Навстречу сходит Лидия Ивановна. Берет меня за руку и ведет.

В цехе прохладно и пахнет цементом. В закрытых конвейерах неторопливо ползет мука.

Потом сразу тепло. Стоят огромные круглые чаши — дежи. В них коричневое зернистое тесто, как развороченная земля, размолотая, пыльная, чуть присохшая сверху. Дежа опрокидывается в воронку, и землистое тесто тяжело валится туда. Запах стоит мучной, густой. Народу мало, никто не обращает на нас внимания, и я узнаю, чем это таким родным пахло от мамы всю жизнь, пахло уютно и уверенно — хлебом. Так пахли ее полные руки, плечи, грудь, живот, платье. Мама пропиталась этим запахом насквозь и навсегда. Вспоминаю чужое благоухание Тонины, острое и будоражащее, как запах вечернего цветка.

Теперь стало совсем жарко. Женщины в белых халатах-рубашках с цветной прострочкой у ворота, сильные, жаркие, спрыскивают буханки, чтобы корочка запеклась блестящей. Буханки исчезают в печи, а появляются уже румяные, глянцевого, треснувшие кое-где, будто улыбающиеся коричневые солнышки. Они толкаются, бегут по конвейеру, а рядом в другую сторону торопятся такие же, но нежные и светлые, тоже улыбающиеся. Все они попадают в рукавицы женщин,

а оттуда, горячие и пахучие,— в ящики многоярусных тележек.

Моя мама, пекарь, работала здесь. Я понял это, потому что нас окружили женщины с запыленными мукой щеками, шеями, грудью. Они совали мне обжигающие ломти хлеба. Лидия Ивановна спросила, где председатель завкома, потом, отбивая меня от женщин, кричала:

— Бабоньки, прекратите закармливать его хлебом!

— Пускай поест. Ешь, милый, прямо из печи, такого больше нигде не попробуешь.

— Я его на экскурсию в кондитерский сведу.

— Веди, Лида, пускай сладенького поест.

Лидия Ивановна опять подхватила меня и повела, а женщины расходились по местам и снова вертелись, двигались в каком-то спором танце у печи.

Мы шли по голубому кафельному коридору. Лидия Ивановна тоже пахла хлебом. И я, держа ее за руку, как маленький, представлял, что это моя мама, излучающая тепло, чистый хлебный запах и уверенность. Уверенность и надежду.

Теперь мы проходили помещения, где мыли изюм, растапливали в котле маргарин и сахар. У стены — ванны с крупной коричневой солью.

— Люся, у тебя сироп кипит!

На обычной газовой плите — два ведра. На столах — противни со сдобным печеньем и ромовыми бабами.

— Ешь,— угощает Лидия Ивановна.

Они горячие и приторные.

— Спасибо, я не люблю сладкого,— говорю я.

Мне хочется вернуться к тем женщинам в халатах-рубашках. А вообще-то я хочу домой.

36

Четырнадцатое февраля.

Уже девять дней, как я остался один. Иногда до сих пор мне кажется: вдруг я проснусь утром, а все по-прежнему. В кухне чайник крышкой тарахтит и голос мамы: «Ты будешь на завтрак колбасу?» Конеч-

но, буду. Никогда на тебя кричать не буду. Все праздники с тобой справлять буду. Не уеду от тебя никогда ни в какой Новгород. Я снова хочу быть маленьким. Я буду слушаться. Я — единственная твоя опора и защита, твой сын.

Просыпаюсь в пустой квартире. Вчера забыл выключить радио, и оно орет на полную громкость зверским голосом: «Поверните туловище влево... раз... вправо... два...» Утренняя гимнастика.

Вчера заходил Славик.

— Отец может взять на работе два абонементов в бассейн. Помнишь, как мы хотели в бассейн? Это два раза в неделю. Как только у тебя решится с работой и школой, мы выберем подходящие дни и часы. Согласен?

Тонина звонила. Разве я мог об этом мечтать? Когда-то я умер бы от счастья. Интересуется, как я.

— Ничего. Живу с птичкой Петькой. Питаюсь удовлетворительно, санусловия соблюдаю. С нравственной стороны — порядок.

Она опешила — и я тоже. Хотел ответить спокойно и с юмором, а получилось почти грубо.

— С каким Петькой? — говорит без выражения.

— Со снегирем. Живой снегирь Петька. — Хочу сгладить впечатление. — Вы не беспокойтесь. В самом деле все нормально. Спасибо вам за все.

Вот и развязка. Не случись ничего с мамой, я бы еще полтора года засыпал с мыслью о Тонине, часами вел бы с ней воображаемые разговоры, я бы очень напрягался и еще какой-нибудь роман Фолкнера прочел — тоже ради нее. Тонина, прелестная женщина, тропический цветок... Я ничего не забыл, я благодарен ей, что жила рядом, ходила, говорила, смеялась. Пусть любовь моя была выдуманной, но разве она от этого хуже? Тосковал и радовался я по-настоящему. Сейчас я стараюсь не вспоминать обо всем этом, для меня это болезненно, потому что связано с матерью.

И вообще я весь как-то изменился, пока даже точно не определяю, в чем. Я обвинял Капусова, что он живет чужими словами и мыслями, а сам делал то же. Только Капусов брал все напрокат в своей семье, я же хватал где попало.

Выпускное сочинение пишут сначала на черновик, потом уже на чистовик. А вот жизнь свою, которая в триллион раз важнее выпускного сочинения, мы живем сразу и навсегда на чистовик. И ничего в ней не исправишь, не вычеркнешь, не припишешь. Возможно, если бы я чаще думал об этом в последние полгода, мне сейчас было бы легче.

Надю я не видел со дня похорон. Звонил ей два раза. Хотелось каждый день, но стеснялся. Сегодня караулил ее после школы, и мы пошли куда глаза глядят: мимо угрюмого февральского Ботанического, на набережную Карповки и к Невке.

Солнце в небе — медный круг. По разрозненным непрочным льдинам бродили вороны на прямых ногах, словно на палочках от леденцовых петушков.

Я пригласил ее в кафе. До сих пор я никогда не ходил с девушками в кафе. Ее, наверно, тоже никто еще не приглашал. Она сказала:

— Я в школьной форме.

— Неважно. Это же не ресторан. И вина мы пить не будем.

Надя позвонила из автомата домой и сказала, что готовится к контрольной у подруги.

Кафе маленькое и не слишком посещаемое. В окнах на протянутой леске нанизаны разноцветные кусочки стекла: красные, желтые, оранжевые, напоминающие кусочки желе. В углу «Меломан» с тремя пластинками. По пути я бросил туда пятак и под музыку, торжественно, мы с Надей пошли к столику.

Надя села так, чтобы видеть посетителей. Она сказала, что в последнее время ее одолевает удивительное любопытство к людям. Она просто как помешанная. Ходит, заглядывает в лица, ловит обрывки разговоров. У нее даже какая-то теория насчет людей. Она делит их на пять категорий. Настоящий ребенок.

Надя рассматривает сидящих напротив парня и девушку, которая курит, выпуская дым, словно тяжело дышащая больная. Еще дальше обедает старик и газету читает.

К ним подплывает официантка — Гаргантюа, пол под ней трещит, и швы ее платья трещат, и воздух с шумом раздвигается.

— Посмотри на парня, — кивает Надя на соседний столик. — Он картавит.

— Откуда ты знаешь?

— А подойди к нему, попроси прикурить.

Я подошел. В самом деле картавит.

«Меломан» беспрерывно прокручивает свои три мелодии. Одна из них очень грустная.

Мне приятно сидеть здесь с Надей. Мне легко с ней, нравится смотреть на нее. Я испытываю к ней необъяснимую нежность и думаю: слава богу, что это не любовь.

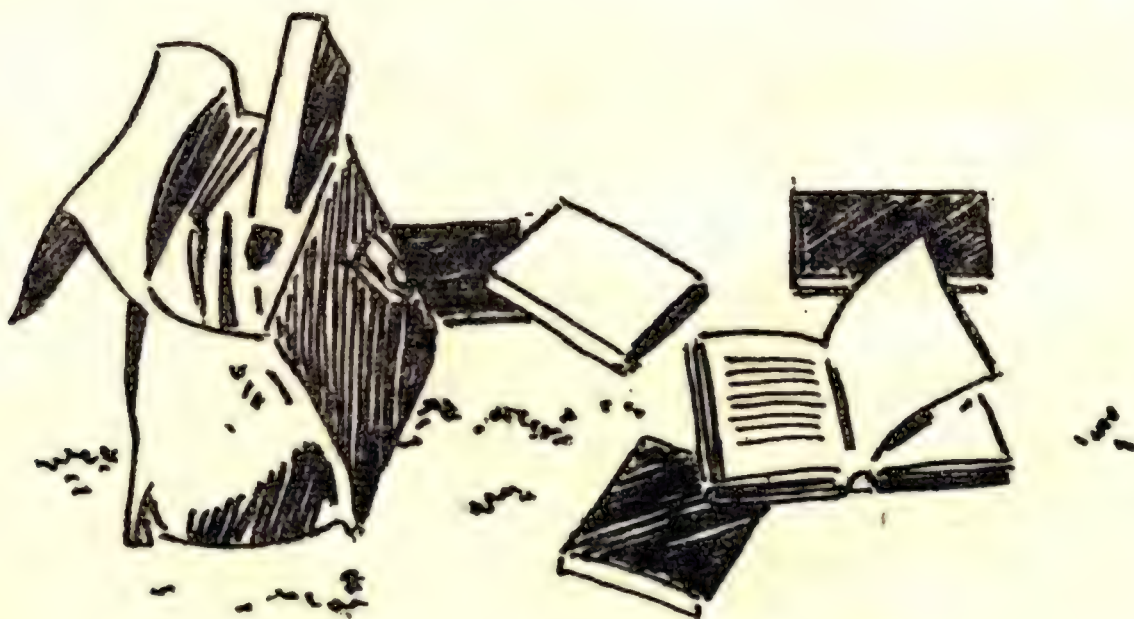
— Я собираюсь завтра к Гусеву. Помнишь, мы с тобой встретили его однажды?

— Чудеса смотреть? — спрашивает Надя.

— Хочу серьезно поговорить. Может, он возьмет меня на работу. Кем угодно согласен, хоть уборщицей. Пойдешь со мной?

— Если не помешаю. Я бы с удовольствием.

Выходим мы тоже под музыку «Меломана». Я подаю Наде пальто. То ли я не умею этого делать, то ли она не привыкла, чтобы ей помогали, только долго у нас ничего не получается. Она сует руку куда-то выше рукава. Даже покраснела от смущения. И я, чувствую, краснею, а это со мной редко случается, у меня капилляры глубоко спрятаны.



К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге
просим направлять по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Елена Александровна Матвеева

ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ

ИБ № 4529

Ответственный редактор

И. В. Пахомова

Художественный редактор

Г. Ф. Ордынский

Технический редактор

В. К. Егорова

Корректоры

Н. Г. Худякова и Е. И. Щербакова

Сдано в набор 26.12.79. Подписано к печати 24.03.80. А03217. Формат $84 \times 108^{1/32}$. Бум. типогр. № 1. Шрифт школьный. Печать выс. ротация. Усл. печ. л. 5,88. Уч.-изд. л. 5,52. Тираж 100 000 экз. Заказ № 653. Цена 35 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушеvский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»





35 коп.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»